

*Переводы и рефераты*

**ГЛАВЫ 14–20 ИЗ КНИГИ  
«ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И ДИКТАТУРЫ:  
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ  
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ  
С КОМПАРАТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ»<sup>1</sup>**

*Станислав Андрески*

*Глава 14. Неэффективность вооружённых сил Италии*

Данная глава является предварительным анализом неэффективности вооруженных сил Италии, поэтому цель ее не сводится к проверке, расширению или уточнению известных фактов. Если приведенные данные окажутся неверными, анализ потеряет всякую актуальность. Большинство описанных фактов, которые рассматриваются как причины, уже хорошо известны, однако между ними существуют определенные причинно-следственные связи, которые ранее не были зафиксированы. Мы попытаемся определить природу этих связей и предложить аргументы в поддержку нашего вывода.

Оценка военной эффективности целых армий на протяжении войны представляет собой сложную задачу, открывающую возможности для глубокого исследования, особенно если речь идет о количественных показателях. Простого знания о том, кто победил, недостаточно: множество примеров свидетельствует, что численное превосходство нередко уступает качеству. Чтобы адекватно оценить эффективность, необходимо проанализировать соотношение между наличными ресурсами и поставленными задачами. В контексте Второй мировой войны лучше согласиться с точкой зрения, широко распространенной среди солдат союзников: они считали немецкие войска грозными противниками, тогда как итальянская армия такой не считалась. Личные мнения и опубликованные материалы подтверждают эту оценку. Хотя популярные стереотипы нередко содержат крайние преувеличения и могут быть оскорбительны, как правило, в них содержатся моменты истины, если они базируются на непосредственном опыте и включают вопросы, которые содержат минимум эмоций, обычно влияющих на оценку. У военных часто встречается завышенное мнение о собственных возможностях и нереалистичная оценка сил противников или союзников, что ведет к упрекам в недостаточной эффективности последних; и все же военные достаточно объективны в оценке относительной силы своих врагов. Поэтому можно полагать, что общепринятые мнения о боеспособности итальянской армии отражают реальную ситуацию.

<sup>1</sup> См.: Andreski St. 1992. Wars, Revolutions, Dictatorships: Studies of Historical and Contemporary Problems from a Comparative Viewpoint. – London: Frank Cass. – Pp. 147–225.

Неэффективность армии Муссолини проявилась в ее неспособности победить хуже вооруженных и малочисленных врагов, например, войска Британии в Египте в 1940 году (до прибытия подкреплений) и Греции. Итальянский экспедиционный корпус не смог победить даже плохо вооруженных республиканских ополченцев в гражданской войне в Испании. Эти случаи подсказывают, что у неэффективности итальянской армии были более глубокие причины, по сравнению с быстрым поражением армий Польши, Югославии и Греции под натиском немцев, которое стало следствием недостатка и качества вооружения, а также общей технической и организационной отсталости. В 1940 году итальянское командование едва ли было менее опытным или более отсталым, чем польское командование в 1939 году, хотя польские солдаты были готовы сражаться. К тому же, несмотря на посредственную промышленную базу, длительная подготовка к войне позволила Муссолини мобилизовать войска, которые были достаточно современными и хорошо оснащенными по сравнению с армиями Югославии, Польши и Греции. Но, к большому разочарованию Муссолини, вскоре стало ясно, что его солдаты не желают воевать. Это подтверждается поведением военнопленных: если (вплоть до самого конца войны) немцев приходилось тщательно охранять, то итальянцы почти не стремились к побегам, а большинство из них, скорее всего, были рады не участвовать в боях.

Такое настроение итальянских солдат свидетельствует о том, что идеологическая обработка может оказаться неэффективной, даже если она продолжается на длительном периоде времени, охватывает широкие слои общества и сопровождается жестким подавлением альтернативных мнений. По крайней мере, частичной причиной нежелания французских солдат воевать в 1940 году было беспрепятственное и активное распространение пацифистских идей на протяжении предыдущих 22 лет. Однако ни одна другая страна (за исключением Японии) не столкнулась в 1940 году с таким массивом милитаристской пропаганды, как Италия. Праздник войны был одним из краеугольных камней фашистской идеологии с самого начала, а идея военной подготовки молодежи была введена Муссолини. Но все же число итальянских добровольцев во Второй мировой войне было намного ниже числа добровольцев в Первой мировой войне. Характерно, что все усилия по идеологической обработке населения оказались контрпродуктивными: в Великобритании пацифистские идеи свободно распространялись и пользовались широкой поддержкой, однако накануне войны возникла характерная военная агрессивность, что, разумеется, не имеет никакого отношения к нынешнему положению вещей.

Не менее примечателен контраст между Германией и Италией. Хотя в Италии тоже распространялся антисемитизм, он был занесен туда под давлением Гитлера лишь в конце 1930-х годов, после принятия первого антисемитского указа в 1938 году. Различие между итальянским фашизмом и немецким национал-социализмом охватывает несколько ключевых принципов, однако Гитлеру хватило шести лет для подготовки своей нации к военным действиям, тогда как у Муссолини было целых 18-ть лет. Несмотря на это, во второй мировой войне немецкая армия показала лучшие результаты по сравнению с первой мировой войной, а вооруженные силы Италии сражались намного хуже. Устойчивое различие между двумя армиями нетрудно объяснить наследием Пруссии, но оно не может полностью исчерпать изменения в их поведении между мировыми войнами. Сложившиеся традиции могли сыграть роль в формировании таких изменений, поскольку попытка навязать милитаризм населению с традиционно мирным мировоззрением может в итоге вызвать антивоенные настроения. Однако было бы ошибкой считать неизменными укоренившиеся представления, основанные на национальной традиции. Например, французская армия потеряла боевой дух после победы в 1918 году, тогда как израильская армия доказала, что отсутствие военной традиции не яв-

ляется препятствием для достижения высоких результатов. Почему же попытки Муссолини изменить представления своих сограждан оказались столь контрпродуктивными?

Наиболее заметным, хотя и не ключевым, аспектом стало различие личностей двух лидеров: Гитлер был сдержанным фанатиком, тогда как Муссолини был сибаритом и оппортунистом. Характер двух главных лидеров сформировал свойства партийных элит.

Контраст в репрессиях между различными режимами также проявляется в количестве жертв и отношении к ним. За исключением последнего периода своей власти (когда он зависел от Гитлера) Муссолини проявлял относительную мягкость по сравнению с такими диктаторами, как Гитлер, Сталин и Пол Пот, а также с другими, которых ныне принимают в ООН. В мирное время число политических заключенных в Италии никогда не превышало 7000, а в отдельные годы было менее 200. Условия содержания в лагерях на Липари были вполне сравнимы с обычными тюрьмами, а не с ужасами Дахау и Колымы. Подобно Ленину, во время ссылки Антонио Грамши смог написать в тюрьме множество трудов, чего не удалось ни одному заключенному во времена Гитлера и Сталина. Всепроникающее насилие сыграло решающую роль в сохранении Красной армии и продолжении немецкого сопротивления. Однако в армии Муссолини не было столь жесткого давления, и похоже на то, что принуждение в ней было менее суровым, чем во времена Первой мировой войны.

Как объяснил Роберт Уэлдер, крайнее насилие может привести к подлинной вере с учетом следующего процесса: если человека заставляют притворяться верующим, он ощущает собственную беспомощность и унижение вместе с опасением: его оговорка или произвольный жест могут привести к жестокому наказанию. Избавиться от этого страха можно, если убедить себя: то, во что тебя заставляют верить, есть действительная истина. Наиболее эффективно этот процесс работает тогда, когда люди боятся даже своих близких друзей – либо из-за угрозы предательства под пытками, либо из-за повсеместного присутствия шпионов. В таких условиях родители вынуждены притворяться даже перед своими детьми (ради опасения за них и за себя), что верят в те или другие определенные вещи. Но в отличие от режимов Гитлера и Сталина, репрессии в Италии никогда не достигали такой уровня жестокости, которая могла бы запустить этот процесс.

Не менее важным является другое глубокое различие, которое скрывается за сходством между итальянским фашизмом и другими авторитарными движениями: итальянский фашизм намного более соответствовал марксистскому стереотипу фашизма как «преторианской гвардии капитализма». Хотя это соответствие нельзя назвать идеальным, поскольку у партийной машины и самого Дуче были корыстные интересы, которые не всегда совпадали с интересами традиционных привилегированных классов. Однако фактом остается то, что фашисты выходили на политическую арену как частные вооруженные формирования, подавлявшие восстания фабричных и сельскохозяйственных рабочих в моменты, когда государственная машина казалась слабой. Повиновение мобилизованных солдат не всегда было гарантировано, хотя премьер-министр Джолитти действовал осторожно. В отличие от этого, в Германии штурмовые отряды активно участвовали в уличных столкновениях с коммунистическими ополчениями; однако немецкие промышленники и землевладельцы не нуждались в их военной защите, поскольку государственный аппарат Германии был намного более устойчивым. Немецкий рейхсвер, хотя и численно небольшой, был высокопрофессиональным и чрезвычайно эффективным; он мог обеспечить немедленное выполнение любых приказов, полученных от президента, фельдмаршала фон Гинденбурга. Возможно, именно поэтому значительно меньшее число промышленников финансировало нацистское движение в Германии по сравнению с Италией. Тем не менее, представитель крупных землевладельцев фон Папен убедил Гинденбурга назначить Гитлера рейхсканцлером, но их надежды на манипуляции

с амбициозным политиком вскоре оказались обманутыми, хотя Гитлер и очистил партию от «уравнителей» во главе с Ремом.

Вклад Гитлера в устранение угроз безопасности привилегированных классов заключался в использовании аппарата насилия, который значительно превышал необходимые меры для достижения этой цели, а не во влиянии на коллективные настроения. Его антисемитизм служил громоотводом, перенаправившим недовольство бедных на евреев вместо богатеев. Назначив небольшую, но заметную группу, на роль козла отпущения за все беды и несправедливости, Гитлер смог стимулировать чувство национальной солидарности гораздо эффективнее, чем Муссолини, что увеличило число его искренних сторонников. На последних свободных выборах в 1932 году нацисты получили 33 % голосов, что на 50 % больше, чем доля следующей по величине партии (социалистов). Для сравнения: на последних свободных выборах в Италии в 1921 году фашисты получили всего 35 мест из 535 по пропорциональному представительству, что составило около 6 % голосов.

Хотя Гитлер не занимался экспроприацией, он предпринял значительные усилия для уменьшения ассоциативных барьеров между классами, что способствовало снижению сдержанности буржуазии по отношению к рабочим. Владельцы и управляющие фабрик были обязаны участвовать в экскурсиях, организованных партийными ячейками, маршировать, петь и устраивать пикники совместно с рабочими под руководством членов партии, которые могли занимать довольно низкие позиции в корпоративной иерархии. Эти члены партии также получали право голоса при найме, увольнении и продвижении по службе, что, наряду с расширением централизованного планирования, привело к значительному сокращению полномочий владельцев и управляющих. Напротив, одним из первых шагов Муссолини стало отмена налогов на наследство и богатство, введенных Джолитти в 1919 году.

Гитлеру повезло в том, что он пришел к власти в послекризисный период, когда мировой экономический кризис уже прошел свой пик, и принятые ранее Брюннингом меры уже начали приносить плоды. Благодаря интуитивно кейнсианской политике министра финансов Шахта, масштабным общественным работам, перевооружению и быстрому росту вооруженных сил, Гитлер смог существенно сократить уровень безработицы и взамен за это достижение возросла его популярность среди благодарного населения. В то время как Муссолини уже прочно обосновался на своем посту, когда разразилась Великая депрессия, ему приходилось справляться с резким увеличением безработицы, падением цен, банкротствами и сокращением реальной заработной платы на 25 % по оптимистичной официальной статистике, а также с падением промышленного производства на 28 % в период с 1929 по 1932 год. В 1935 году объем промышленного производства по-прежнему составлял лишь 81 % от уровня 1929 года. Неудивительно, что Муссолини оказался гораздо менее способным изображать себя волшебником, чем его ученик.

Отношение к пролетариями стало возможным благодаря плебейским манерам, речи и образу жизни Гитлера и его сторонников, которые, кроме Геринга, не стремились интегрироваться в традиционные высшие классы общества. В отличие от этого, в Италии ситуация была совершенно иной: пышная свадьба дочери Муссолини с графом Чиано, который занял пост министра иностранных дел и стал близким советником тестя, демонстрировала тесные связи с аристократией. Такое явное сближение с высшими слоями общества усложняло для фашистов возможность представлять себя в качестве защитников простых людей.

Нацисты не только косвенно усилили чувство национальной солидарности, что сказалось на эффективности вооруженных сил, но и устранили некоторые слабости армии кайзера. Так, они смягчили классовые барьеры внутри армии и изменили взаимосвязь между доступностью военных чинов и социальным происхождением. Это привело к тому, что *юнkers* утратили монополию на высшие должности, и талантливые представители среднего класса

с новыми идеями, такие как Гудериан и Роммель, смогли достичь высших командных структур. Одним из последствий реформ стало уменьшение дистанции между офицерами и рядовыми, а также настойчивое требование более отцовского подхода со стороны первых к последним. Сочетание строгой дисциплины, подкрепленной жестокими наказаниями, с более тесными взаимоотношениями между разными уровнями власти стало прочным основанием для внутренней сплоченности. Уменьшение классовой предвзятости позволило снизить влияние на командные позиции людей, которые не обладали необходимыми качествами и назначались исключительно по причине аристократического происхождения. Наряду с другими факторами это радикальное изменение объясняет различия в эффективности между царской и Красной армией. Впрочем, фашисты оказали гораздо меньшее воздействие на внутренние дела и образ жизни итальянской армии, что, возможно, объясняется их большей готовностью сотрудничать со старыми привилегированными классами.

Стоит отметить еще один важный аспект. Высказывания Геббельса свидетельствуют о том, что зверства нацистов не были лишь самоцелью или средством запугивания покоренного населения. Они также преследовали цель связать немецкий народ со своим фюрером, вовлекая население в соучастие в совершенных преступлениях. Таким образом, страх расправы не позволял людям восстать или дистанцироваться от режима в отличие от того, как это случилось с кайзером. В отличие от Гитлера, Муссолини был более порядочным и не использовал подобные методы для укрепления своей власти.

При анализе влияния двух диктатур на боевые качества войск обратимся к истокам итальянской армии во время Первой мировой войны. В тот момент ее репутация была далеко не лучшей; существует мнение, что итальянские солдаты проявляли меньшую боеспособность по сравнению с солдатами других стран, за исключением, возможно, чешских полков австро-венгерской армии. Без поддержки французов итальянская армия рухнула бы после австро-германского прорыва в Капоретто. Это может свидетельствовать о том, что итальянские солдаты сражались менее эффективно по причине недостаточно квалифицированного командования. Если это так, то можно предположить, что итальянские офицеры были менее целеустремленными в стремлении к победе по сравнению с коллегами из других армий. В свою очередь, такой подход мог отражать общее настроение населения страны. В Италии существовали значительные сомнения относительно вступления в войну, и только здесь Социалистическая партия сохраняла противоречивые взгляды, откликаясь на общий националистический энтузиазм. Хотя вступление в войну действительно можно считать ошибочным шагом, оно не было более необдуманным, чем действия правительств других стран, которые, несмотря на очевидные риски, продолжали свои военные кампании. Интересно, что, несмотря на ошибки своих руководителей, другие народы стремились следовать за ними с энтузиазмом, в то время как итальянцы, возможно, проявили большую осторожность или осмотрительность. Однако нет доказательств того, что итальянцы были более склонны к рациональному мышлению, чем другие народы; по всей видимости, их повседневная жизнь и культура были насыщены более глубокими суевериями по сравнению с жителями экономически более развитых стран Европы.

Некоторые историки приписывают низкую эффективность армии новизне итальянского государства, сравнивая его с устоявшимися национальными государствами Британии и Франции. Однако этот факт не мог быть решающим фактором, с учетом того, что Германский Рейх был на девять лет моложе. Существуют и другие более показательные примеры – например, Сербия и Болгария в Балканских войнах, которые демонстрируют, что новизна государства не обязательно препятствует боеспособности солдат. Польша существовала всего 20 лет в момент нападения на нее в 1939 году, и быстро потерпела поражение, но это не связано с отсутствием у солдат воли сражаться. Более того, спустя всего два года по-

сле восстановления независимости в 1918 году Польша смогла успешно вести войну против Советской России.

Степень развития промышленности может объяснить, почему армии Германии, Франции и Великобритании были лучше подготовлены, но не отвечает на вопрос: почему австро-венгерские, русские, турецкие и сербские солдаты проявили большую стойкость в бою? Нельзя также игнорировать факторы, стимулировавшие нежелание американских солдат участвовать в войне во Вьетнаме – такие как благополучная жизнь, антииерархическая идеология и вседозволенная ультрагедонистическая культура. В то же время большинство итальянских солдат были бедными крестьянами, и их условия жизни не отличались от условий жизни русских или сербов.

Мы можем отвергнуть мнение, которое периодически возникало во время обеих войн и проявлялось в виде шуток: итальянский народ были менее храбрым по сравнению с другими. На самом деле, Италия была ареной кровавых вендетт, знаменитых бандитов и анархистов-самоубийц, а также местом частых перестрелок между бандами мафии. Иммигранты из Италии сумели утвердиться в жестоких условиях американской организованной преступности. Хотя итальянцы проявляли значительную смелость в частном насилии, их не особо привлекала идея рисковать жизнью в борьбе за государственные интересы.

Показательная неспособность итальянского государства мобилизовать военные усилия своих подданных не следует отождествлять с его особой репрессивностью. По сравнению с правительствами царя или султана режим Джолитти был значительно менее репрессивным. Слабость итальянского государства также не может быть объяснена разрывом между богатыми и бедными, который в 1914 году наблюдался и в других европейских странах. Крайнее социальное неравенство не помешало Великобритании вести войну до 1916 года, опираясь на массовую армию, сформированную путем добровольного зачисления. Этот фактор, а также относительная терпимость к отказам воевать по убеждениям – что было бы невозможно, если бы большинство мужчин желало воспользоваться этой опцией – свидетельствует о том, что британское государство смогло наиболее успешно привить своим гражданам безусловную лояльность. Нельзя также сводить отсутствие воли сражаться итальянских солдат к неэффективности итальянской бюрократии (хотя она и играла свою роль), поскольку в Российской и Османской империях административные аппараты находились не в лучшем состоянии, но их солдаты все равно сражались доблестно, и причины их поражений можно объяснить лишь плохой организацией, недостаточным оснащением и неэффективным командованием.

Нельзя утверждать, что низкий моральный дух итальянских солдат был обусловлен «партикуляризмом» – привязанностью к своему роду или деревне, которая якобы несовместима с лояльностью к государству. На самом деле нет убедительных доказательств, что сильные местные связи мешают более широкой солидарности. Напротив, сильный партикуляризм является характерной чертой всех крестьян, и зачастую считается, что в целом крестьяне воюют проявляют лучше городских жителей. Более того, уровень партикуляристских связей в Италии не превосходит таковой в других преимущественно сельских странах. Например, прочные родственные узы сохранялись дольше и были сильнее среди южных славян, нежели в других частях Европы, при этом сербские солдаты славились своей неукротимой свирепостью.

Почему же итальянское государство смогло привить своим подданным настолько высокую лояльность и послушание, что они становились добровольными солдатами в отличие от других стран? Очевидно, эта способность была даже более выражена в Италии, чем в Габсбургской монархии, в которой национализм становился все более мощной силой.

Я могу выделить лишь одну специфичную черту итальянской ситуации, которая могла бы дать объяснение этому: противодействие Церкви процессу объединения Италии.

Объединение Италии привело к насильственной аннексии папских территорий, что стало причиной протеста со стороны пап. Папы заперлись в стенах Ватикана, а верующие отказывались участвовать в государственных делах. Лишь во время Первой мировой войны среди практикующих католиков появился министр кабинета министров. В то время как атеизм и антиклерикализм широко распространились среди интеллектуалов и политиков, влияние религии на сельское население гораздо дольше оставалось сильным и начало ослабевать лишь в 1950-х годы; в 1914 году крестьяне составляли 55% населения. Хотя национализм оказал значительное влияние на средний класс, притяжение церкви, вероятно, подрывало его преданность гражданским обязанностям. В утверждении Клемансо о том, что «нет плохих солдат, есть только плохие офицеры», содержится своя правда, поскольку офицеры способны гораздо больше влиять на своих подчиненных, чем наоборот. Тем не менее эта идея не умаляет значения упомянутых обстоятельств, которые оказывали влияние на установки офицеров столь же сильно, как и на установки рядовых солдат.

Чтобы оценить значение данного фактора, следует учитывать, насколько важной была поддержка религии в формировании у людей лояльности к государству и готовности отдать жизнь в бою. Сплоченность империи Габсбургов была обусловлена ее ролью защитника веры как от мусульман, так и от протестантов. Аналогичные воинственные традиции наблюдаются и у испанцев. Лютеранство способствовало развитию военной доблести Швеции и Пруссии, а Церковь Англии играла ключевую роль в укреплении национального единства. Выносливость и послушание русских солдат во многом определялись положением царя как главы Церкви, а также давней традицией ведения войн с неверными: мусульманскими татарами и турками, католическими поляками и лютеранскими шведами. В 1920 году польские крестьяне защищали двухлетнюю независимую республику не только из патриотических побуждений, но и под влиянием призывов духовенства к защите религии от безбожных большевиков. Спустя десятилетия после введения секуляризации, инициированной кемалистами, турецкие солдаты, получая команды на атаку, кричат «Аллах». Это лишь некоторые примеры из множества доступных иллюстраций.

Конкордат с Церковью, заключенный Муссолини в 1929 году, состоялся слишком поздно, чтобы существенно изменить отношение общества к государству. К тому времени уже действовали отчуждающие факторы, о которых упоминалось ранее. Позднее к ним добавилось разочарование от наблюдения за тем, как Италия превращается в вассальное государство нации, одержимой безумной гордыней; правители этой нации считали средиземноморскую расу низшей.

Неудивительно, что поддержка религии долгое время способствовала тому, чтобы люди стремились встретить смерть в бою. Однако сильная преданность нерелигиозной или квазирелигиозной идеологии, порой противостоящей традиционным верованиям, также может вдохновлять на подвиги. Примерами могут служить армии Французской революции и республиканские ополчения гражданской войны в Испании. Во время Второй мировой войны итальянские дивизии чернорубашечников – единственные подразделения, в которых можно было найти истинно верующих в фашизм; как утверждал Роммель, они проявляли лучшие боевые качества по сравнению с регулярной армией. Разногласия между нацистской идеологией и христианством не помешали дивизиям штурмовиков добиться выдающихся результатов на поле боя. Даже когда Сталин освободил священников из тюрем и принудил их благословлять войска накануне немецкого наступления на Москву, было бы ошибкой считать, что это обеспечивало стойкость советских солдат. Для простых людей более значимым источником мотивации оставались традиции русского патриотизма и воинского братства. Важную

роль сыграла также идеологическая преданность ряда членов партии (в числе которых были все офицеры), а также их способность и готовность применять жесткие меры к остальному населению. Несмотря на то что советские лидеры оказались менее успешными в привлечении масс, чем нацисты, они проявили в этом большее искусство, чем Муссолини. Кроме того, хотя изначально воля советских солдат к борьбе была низкой (что подтверждается количеством военнопленных), зверства, совершенные немецкими войсками по приказу Гитлера, вскоре подняли моральный дух. В то же время у итальянских солдат аналогичные обстоятельства не смогли компенсировать факторы, ослабившие их боевой дух.

Во всех этих случаях можно отметить, что воинские доблести менее зависят от религиозной поддержки, если они основаны на идеологической приверженности или на глубоко укорененном патриотизме, который возникает из исторического существования государства и продолжительности его военного прошлого. Однако как обстояло дело в Германии во время Первой мировой войны? Здесь существовал недостаток религиозного единства, поскольку более трети населения составляли католики, а в последние годы правления Бисмарка страна пережила конфликт между правительством и католической церковью – «культуркампф». Тем не менее, несмотря на возможное негативное мнение католиков о Железном канцлере, они не выступали против самого государства или его границ, как это было в Италии. Более того, немецкая армия, в отличие от гражданской администрации, была сформирована и возглавлялась пруссаками, в частности восточно-эльбским дворянством, известным как юнкерство, чье лютеранство активно поддерживало их преданность служению государству. Таким образом, случай Германии не опровергает утверждение о том, что конфликт лояльностей ослабил военный потенциал объединенной Италии.

#### *Ответ на комментарии*

Поскольку Джон Гуч знает об истории Италии намного больше, оспаривать его фактические утверждения нет смысла. Радуется, что ни одно из них не противоречит ранее приведенным аргументам. Более того, его рассказ представляет собой альтернативное объяснение, потому что его можно интегрировать в наш тезис. Он упоминает о промахах и неуклюжести политических лидеров и высшего командования, делая намеки на то, что подобная некомпетентность не была редкостью среди офицерского корпуса. В то время как мы обращаемся к корням низкого морального духа, различие в фокусе зрения могло бы привести к альтернативным объяснениям только в том случае, если бы эти явления были независимы друг от друга, что крайне маловероятно. Если же они взаимосвязаны, возникает вопрос: что было причиной, а что следствием? Безусловно, между этими двумя переменными существовало взаимодействие; мы можем предположить, что, как это обычно бывает, они были переплетены в некий порочный круг (или положительную обратную связь, если вам ближе этот термин), при этом низкий моральный дух способствовал некомпетентности, результаты которой лишь усиливали падение морального духа, и так далее. Однако взаимодействие между двумя факторами не исключает возможности, что один из них был «первичным» или «более фундаментальным», имея более глубокие корни в социальной и культурной структуре.

Если бы мы сосредоточились исключительно на мнении рядовых солдат, можно было бы предположить, что их низкий боевой дух объясняется осознанием некомпетентности командиров. Однако данная проблема не может быть независимой от отношения самих командиров, так как отсутствие преданности долгу со стороны лидеров неизбежно приводит к неэффективности всей организации. Причины некомпетентности могут быть разнообразными, включая нехватку возможности освоить необходимые навыки, как это имело место в ополчениях рабочих в начале гражданской войны в Испании, или неадекватный культур-

ный уровень, что наблюдалось в недавно созданной армии Заира, где необученные и иногда неграмотные люди командовали военными подразделениями, не имея четкого представления о своих обязанностях. В результате, чтобы справиться с вооруженными сектантами, правительству приходилось прибегать к услугам европейских наемников. Однако в Италии в рассматриваемый период таких факторов, способствующих военной некомпетентности, не наблюдалось.

Если бы некомпетентность итальянского военного командования была следствием случайных индивидуальных различий, то, вероятно, она проявлялась бы менее стабильно и в меньших масштабах, чем это показано в отчете Гуча. Однако если это действительно так, то единственным объяснением может быть отсутствие преданности или приверженности заявленным целям вооруженных сил среди генералов, офицеров, гражданских администраторов и политиков, занимающихся военными вопросами. Эти отношения, в свою очередь, могут быть обоснованы моим тезисом.

Вклад Александра Лопасича полностью подтверждает этот тезис. Описание общего состояния или тенденции не утрачивает своей значимости из-за утверждений о локальных или кратковременных отклонениях, если они остаются в пределах допустимого приближения. В некоторых подразделениях особые обстоятельства или выдающиеся качества командиров смогли значительно повысить боевой дух, превышая средние показатели. Тезис утратит свою силу лишь в случае, если такие исключения станут слишком многочисленными, что поставит под сомнение изначальную посылку о преобладающих тенденциях.

Кристи Дэвис справедливо отмечает, что нежелание итальянцев участвовать в войнах имеет глубокие исторические корни. Однако мы не должны переоценивать влияние традиции или культурной инерции. В статье приведены несколько примеров быстрых изменений в национальном характере, таких как случай евреев, которые в диаспоре были известны своим нежеланием служить в армии, но смогли создать высокоэффективную армию в Израиле. Вероятно, во времена Гарибальди итальянцы могли бы развить националистические и милитаристские взгляды, если бы не столкновение патриотизма с религиозными убеждениями. Муссолини вызывал опасения у иностранных государств, поскольку считалось, что фашистская пропаганда преобразила итальянцев в рьяных воинов. Однако его враги и союзники были так же удивлены, как и он сам, неэффективностью военного аппарата Италии.

Существует множество примеров, иллюстрирующих, что территориальное разделение, даже в условиях иностранного господства, не обязательно приводит к снижению готовности участвовать в войнах. На протяжении пяти веков Россия оставалась фрагментированной на враждующие княжества, находившиеся под игом монголов в течение трех столетий. Возвышение московского князя началось с его мало почетной роли сборщика налогов для хана. Это, однако, не помешало ему впоследствии утвердиться в роли Защитника веры и, в конечном итоге, главы церкви, что принесло ему уважение и признание. В дополнение к этому, другие примеры демонстрируют, что недавнее объединение не обязательно ослабляет боевой дух. Объединение враждующих племен под руководством Мухаммеда и Чингисхана послужило предисловием к двум наиболее выдающимся сериям завоеваний в истории.

Выделенный в тезисе фактор действовал до объединения Италии, хотя и проявлялся в ином виде. Поскольку Папа был одновременно и главой государства, он регулярно оказывался в конфликте с другими итальянскими правителями. Это порождало у итальянцев постоянную дилемму между лояльностью к Церкви и преданностью правительству. В результате они не развивали глубокой преданности ни тому, ни другому. Следовательно, ни один итальянский принц не мог рассчитывать на такую поддержку, какую имели монархи, подкрепленные религиозным чувством.

Баланс сил между троном и церковью был уникальной и постоянной характеристикой западного христианства, а открытая борьба между монархами и папами сыграла решающую роль в распаде старой германской империи. Однако за пределами Италии Папа никогда не рассматривался исключительно как один из игроков в политической борьбе. Даже в Мексике, где попытки искоренения католицизма со стороны постреволюционного правительства привели к гражданской войне против «кристерос» во время президентства Кальеса, церковь выступала против правительства, а не против самого государства или его границ. В то же время мы не знаем, насколько эффективно мексиканская армия сражалась бы в условиях внешней войны в тот период.

### *Постскриптум 1991*

После написания предыдущих страниц появилась важная работа: «Краткая история итальянской армии» (*Breve Storia dell'Esercito Italiano*) Джорджо Рошата и Джулио Массобрио (Турин, 1978). Несмотря на скромное название, она значительно углубляет наше понимание рассматриваемой темы. Как и многие итальянские историки, авторы находятся под влиянием марксистской идеологии, что порой приводит к ошибочным и доктринерским высказываниям о политике в других странах. Однако в своей области они пишут трезво и непредвзято. Это влияние, кажется, сыграло положительную роль, позволив им избежать националистического и милитаристского восхваления, характерного для военной истории на любом языке, и побудив к структурному, а не лишь событийному подходу. Их анализ полностью подтверждает основной тезис моего исследования: военные действия объединенной Италии были плохо организованы. Рошат и Массобрио распространяют эту оценку на колониальные войны в Эритрее, Сомали, Ливии и Эфиопии. Поражение при Адуа в 1896 году они рассматривают как результат колоссальной некомпетентности, в то время как быстрое завоевание Эфиопии в 1936 году не является свидетельством эффективности, учитывая чрезмерные затраты людей и материалов относительно слабого противника. Авторы также отмечают недостатки в подготовке, организации и командовании в ходе Первой мировой войны и еще большую неэффективность во Второй. Примечательно, что, несмотря на тоталитарные устремления и милитаристскую пропаганду, военные усилия Муссолини оказались значительно слабее (даже с финансовой точки зрения), чем усилия либеральной республики в Первой мировой войне. В то время как в Первой мировой войне обязательная мобилизация касалась преимущественно низших классов, во Второй мировой войне это явление стало общим для представителей среднего и высшего классов.

Авторы статьи не дают объяснения различиям между двумя войнами, однако это объяснение доступно. Основной целью участия в Первой мировой войне было завершение процесса объединения Италии, часть которой все еще находилась под контролем Габсбургов. Многие итальянцы надеялись, что участие в победе позволит им занять достойное место среди великих держав Европы. В отличие от этого, через двадцать пять лет любой итальянец, владеющий немецким языком, мог наблюдать, что его союзники воспринимают его как представителя низшей расы, на одном уровне со славянами. Кроме того, любому нормально информированному человеку было очевидно, что победа приведет Италию к подчинению Гитлеру, что явно не способствовало бы росту националистического энтузиазма. Эти обстоятельства, вероятно, усугубили уже существующие проблемы с военной эффективностью, однако сами по себе они не могут объяснить низкие показатели в предыдущих войнах.

Рошат и Массобрио указывают на ключевую причину неэффективности, проявлявшуюся в более ранних войнах: они утверждают, что с самого начала армия объединенной Италии использовалась для внутренних репрессий и была сознательно приспособлена к этой функ-

ции, что негативно сказалось на ее способности вести войны. Времена Муссолини предоставили иные обстоятельства, так как он мог полагаться на свою военизированную партию и ее отряды для достижения этих целей. Нет сомнения, что тезис наших авторов верен: они выделили важный фактор, который следует учитывать наряду с теми аспектами, которые рассматривались ранее. При этом не существует противоречия между ними – скорее, они взаимосвязаны. Неспособность правительства привить лояльность подданных, возможно, заставляла его все более полагаться на принуждение. Осуждение итальянского государства со стороны пап поощряло неповиновение и мятеж. В бывших владениях Бурбонов многие священники подстрекали крестьян восставать против «нечестивого» правительства в Риме.

Многие мыслители прошлого утверждали, что угнетение бедных богатыми ослабляет государство. В начале XIX века польский историк Иоахим Лелевель связывал падение Польши именно с этой проблемой. Ярким примером открытого восстания стало подавление армией мятежей в Италии, которое происходило не раз в период между объединением страны и концом века. Однако подобные ситуации не были уникальными для Италии. Например, в 1871 году Парижская коммуна была подавлена войсками, но важно отметить, что это событие не оказало значительного влияния на армию, поскольку ни крестьяне, ни провинциальные города не участвовали в этих протестах. В 1907 году в Румынии вспыхнуло крестьянское восстание, оказавшееся, по всей видимости, не менее серьезным, чем беспорядки в Италии, хотя с момента его подавления до вступления Румынии в войну прошло всего семь лет. В отличие от итальянского контекста, румынские солдаты не стали объектом критики за нежелание сражаться. Другим контрпримером служит Россия, в которой в 1905 году произошло масштабное восстание, смешавшее городские и сельские элементы. Тем не менее, солдаты царя продолжали упорно сражаться, несмотря на большие потери, пока не начали испытывать отчаяние из-за нехватки продовольствия, одежды и боеприпасов. Значительно раньше де Токвиль отмечал, как русские солдаты проявляли мужество, защищая свои позиции. Поддерживаемая царем, русская церковь активно проповедовала верность власти. Существует множество примеров использования армии для подавления низших классов. Тогда как Италия является уникальным случаем, когда церковь, к которой принадлежали почти все, выступила против существования государства.

### *Глава 15. Национализм, классовое неравенство и диктатура в новых государствах. Сравнительный анализ общих тенденций и различий, зафиксированных в Латинской Америке, Восточной Европе и Тропической Африке*

Обсуждение проблемы национализма на английском и французском языке представляет собой более сложную задачу, чем на языках Центральной и Восточной Европы. Это связано с тем, что в этих языках слова «национальность» и «гражданство» часто используются как синонимы, а «нация» охватывает всех граждан. Молчаливое предположение заключается в том, что все граждане разделяют общее чувство принадлежности и формируют коллектив, стремящийся к независимости и единству. Такое представление укоренилось, поскольку Франция и Англия (позже Британия) существовали как национальные государства до тех пор, пока массовая иммиграция последних десятилетий не привела к тому, что значительное число граждан стало относить себя к иной идентичности. Тем не менее, язык не всегда поспевает за этой реальностью. В Центральной и Восточной Европе (включая немецкий язык) есть слова, позволяющие различать принадлежность к нации – определяемую родным языком, сентиментальной привязанностью и взаимным принятием – и гражданство, которое основывается на правовых нормах.

Существует значительное разнообразие в степени совпадения между составами членов нации и граждан государства – от полного до минимального. Например, в Японии это совпа-

дение практически полное, тогда как в Шри-Ланке оно значительно меньше, а в Израиле и Южной Африке еще ниже. В «Германской Демократической Республике» данное совпадение было практически нулевым. Учитывая, что этот фактор оказывает глубокое влияние на многие аспекты общественной жизни, в дальнейшем термин «нация» будет использоваться таким образом, чтобы учесть его значения без дополнительных разъяснений.

Для обсуждения положения дел в Африке необходимо использовать термин, который будет обозначать группы людей, которые принадлежат к общей культуре (обычаи, верования и язык), но не стремятся к созданию отдельной политической единицы; например, такие группы, как йоруба или хауса. Хотя по численности они превосходят многие европейские народы, такие группы часто ошибочно называются племенами, что может вызывать недоразумения, поскольку термин «племя» применяется также к гораздо меньшим группам внутри более широких социальных образований. Некоторые французские этнологи предложили использовать слово «*ethnie*» для обозначения более крупных культурных групп, таких как йоруба или хауса. В книге, посвященной проблемам Африки, было высказано предложение, чтобы англоязычная версия этого термина – «*ethny*» (этни) – была принята в английском языке, так как для него пока нет адекватного аналога.

«Сравнивать» не означает «уравнивать»: различия столь же значимы, как и сходства. На самом деле, именно посредством анализа различных сочетаний сходства и различия мы можем лучше понять причинно-следственные связи. В сравнительных исследованиях, как и на картах, широта охвата изменяется обратно пропорционально уровню детализации; однако нет обоснованных причин считать, что один масштаб всегда предпочтительнее другого. По причине сложности и многогранности материала при изучении общества масштабный обзор обречен быть не только приблизительным, но и спорным.

### *Три волны образования государств*

В современной истории можно выделить три волны образования новых государств. Первая волна прошла в Америке в конце XVIII и начале XIX века. Вторая волна охватила Европу в XIX и начале XX века и делится на две основные части. Первая часть включает государства, возникшие на территории бывшей Османской империи в результате ее поражений от европейских держав: первым из них стала Греция (1830 год), а последним – Болгария (1878 год). Вторая часть связана с распадом Германской, Австрийской и Российской империй в конце Первой мировой войны. Третья волна последовала за завершением Второй мировой войны. Хотя современные границы арабских государств были определены после Первой мировой войны, в межвоенный период они находились под официальным или неофициальным контролем Лондона и Парижа. Их *фактическая* независимость была достигнута лишь в результате волны деколонизации, охватившей Азию и Африку после 1945 года.

В этот обзор новые государства Азии и Северной Африки не включены намеренно, поскольку тема достаточно сложна и обширна. Исключено также объединение Германии и Италии, поскольку это именно случаи объединения, а не возникновения или возрождения. По той же причине не рассматривается создание Южно-Африканского Союза. Хотя Соединенные Штаты Америки возникли в результате освобождения от контроля империи, подобно новым государствам, у них нет других аналогий. С самого начала это была страна, населенная самыми богатыми людьми мира. Даже будучи колониальными подданными, у жителей США был уровень жизни, заметно превосходящий уровень жизни простых людей в Европе. Даже рабы здесь питались лучше, чем нищие в Европе или Азии. Фактически именно отсутствие голодающих искателей работы делало рабство высокоприбыльным. Кроме того, Соединенные Штаты представляли собой уникальное государство нового типа – результат политиче-

ской инженерии, для которого характерна беспрецедентная оригинальность со времен Солона в Древней Греции.

В отличие от Соединенных Штатов многие новые государства занимали периферийное положение в его различных модификациях. По сравнению с центрами силы и прогресса – Северо-Западной Европой и Северной Америкой – они были и остаются относительно бедными и слабыми с военной точки зрения. Тем не менее, существуют определенные исключения в вопросе экономического развития. Например, до того как коммунистический режим привел страну к экономическому упадку, Чехословакия находилась на уровне экономического развития, сопоставимом с Западной Европой. Финляндия тоже в значительной степени соответствовала этому уровню.

### *Имитация на периферии*

Для всех новых периферийных государств характерна выраженная склонность к подражанию центрам богатства, власти и прогресса, что влияет практически на все аспекты жизни – от политических доктрин до моды. В этом контексте сложно провести близкие параллели с весьма целенаправленным подражанием, характерным для Японии, хотя и там присутствовали случаи слепого копирования. Безусловно, подражание играет важную роль в прогрессе, однако оно часто приводит к внедрению таких образцов и институтов, которые оказываются нежизнеспособными или даже вредными. Простой пример – мужская одежда, форма которой развилась в холодном и влажном климате Севера, где она не создает чрезмерного дискомфорта. В тропических регионах же длинные брюки, воротники, галстуки и пиджаки могут способствовать низкой эффективности управления и нестабильности, что становится характерным для жарких стран. Жилберто Фрейре утверждает, что лень, раздражительность и жестокость среди бразильских рабовладельцев могли быть частично связаны с постоянным дискомфортом, вызванным тяжелой одеждой.

Эта тенденция к подражанию обусловила также принятие конституций, которые либо с самого начала оставались мертвой буквой, либо вскоре отменялись.

Новые государства Латинской Америки не возникли в результате национальных восстаний, поскольку наций в современном понимании там не существовало. Войны за независимость можно рассматривать как особую форму классового конфликта: не между бедными и богатыми, а между менее привилегированным классом («*criollos*» – потомками испанцев, родившимися в Америке) и более привилегированными представителями – чиновниками, отправленными из Испании, известными как «*los peninsulares*». Культура «*criollos*» оказалась удивительно однородной, несмотря на географическую разбросанность и различия в условиях жизни. Все они были католиками и говорили по-испански. Конечно, существовали индейские анклавные территории, в которых использовались местные языки и (значительно реже) сохранились традиционные религиозные практики. Однако эти группы не играли активной роли в процессе формирования независимости.

Лидеры восстания – Симон Боливар и Хосе де Сан-Мартин – не ожидали, что Испанская империя распадется на множество независимых государств. Этот процесс произошел преимущественно из-за огромных расстояний, которые сделали невозможным централизованное управление обширной территорией, едва были разрушены узы монархической лояльности, подкрепленные Церковью. Фактически новые государства представляли собой территории, контролируемые отдельными каудильо, влияние которых во многом определялось наличием естественных транспортных препятствий. Чувство государственности формировалось медленно, в результате жизни под единой властью и географической изоляции от соседей. В отличие от Европы и подобно Африке новые государства после 1800 года предше-

ствовали новым нациям. Но в отличие от Африки рост национального самосознания не сталкивался с этническими или религиозными разногласиями. Индейцы никогда не составляли единой нации и постепенно, но неуклонно ассимилировались в доминирующую иберо-американскую культуру.

Границы испано-американских государств обычно совпадали с географическими преградами, в то время как границы африканских государств, особенно в Тропической Африке, были проведены произвольно. Эти границы были установлены на различных конференциях европейских правительств без учета этнической принадлежности местных народов. Государственность в Сомали была ослаблена мощными племенными структурами, хотя здесь и наблюдается определенная языковая, этническая и религиозная однородность. Официальное использование английского, французского или португальского языков создает разрыв между образованной элитой и широкой массой населения, слабо знающей эти языки. Поскольку образование часто воспринимается как отчуждение от основной части населения, непонимание официального языка усиливает чувство дистанции между гражданами и государством, к которому они не испытывают лояльности. За исключением сомалийцев, так называемые «нации» Тропической Африки представляют собой население, живущее под единой властью, но лишенное чувства единства и солидарности, объединяющееся лишь на основе противостояния. Таким образом, в Тропической Африке практически отсутствуют национализмы, за исключением, возможно, сомалийского и амхарского (в отличие от более широкого понятия «эфиопский»). Обширная литература о национализмах в Африке зачастую носит спекулятивный характер. Возникает справедливый вопрос: как быть с освободительными войнами в Родезии, Анголе и Мозамбике? Эти конфликты были не столько войнами между нациями, сколько противостоянием рас – поработенных африканцев против правящих европейцев, или, иначе говоря, черных против белых. То же самое относится и к деятельности Африканского национального конгресса в Южной Африке. Слово «африканский» в его названии имеет значение: оно не содержит названия южноафриканской черной нации, потому что такой нации нет. Южноафриканских чернокожих объединяет общий враг – белые, чьи привилегии они ненавидят, но стремятся к ним.

Отсутствие чувства государственности в существующих африканских государствах (за исключением некоторых упомянутых) не означает, что в Африке не могут возникнуть национальные государства. Однако это может произойти лишь в том случае, если границы будут преобразованы в соответствии с культурными различиями. Например, если бы Биафра не была уничтожена, она имела все шансы стать полноценным национальным государством, даже учитывая наличие меньшинства калабарцев. Национальное чувство принадлежности могло бы развиваться в государствах, в которых культурные различия не столь значительны, где много мелких этнических групп, а не несколько крупных, и где существует распространенный коренной язык, такой как суахили, который мог бы стать общепринятым и официальным. Это касается, к примеру, хауса-говорящих, которые могли бы стать единой нацией, если бы были разделены и затем объединены. В свою очередь, маловероятно, что население Судана или Нигерии когда-либо смогут образовать нации в каком-либо значительном смысле, кроме правового. Хотя индусы разделены языками и письменностями, их объединяет общая религия – индуизм, которая отличает их от окружающего мира. В отличие от этого, у жителей Судана и Нигерии нет культурной характеристики, которая бы объединяла их и отделяла от соседей.

Отсутствие этнической сплоченности в африканских государствах значительно способствует внутренним беспорядкам и коррупции, но в то же время объясняет удивительно дружеские отношения между правительствами. В отличие от европейской практики, африканские лидеры не разжигают вражду между своими народами и соседями. Они даже учре-

дили Организацию африканского единства, в которой обсуждения происходят без препирательств и ненависти, часто характерных для международных отношений в Европе до недавнего времени. Неудивительно, что единственная «международная» война на континенте, связанная с националистическими настроениями, произошла между двумя государствами, наиболее близкими к европейскому этническому разнообразию. Сомали представляет собой единственное полностью однородное по языку, религии и культуре государство в Африке, в то время как Эфиопия сохраняет уникальное наследие, находясь под влиянием нации амхар, известной своей давней традицией единства и независимости, а также богатством религиозных обычаев, языка и письменности. Эфиопия, будучи единственным африканским государством, проводившим политику ассимиляции посредством подавления языков доминирующих этнических групп – оромо, борана и сомалийцев, – напомнила о подобных практиках в Европе, когда немцы занимались притеснением поляков, поляки – украинцев, а венгры – словаков.

В отличие от Латинской Америки и Тропической Африки, где этнические различия часто оказывались незначительными или оставались незамеченными, новые государства в Европе после 1800 года формировались под влиянием национализма. Их границы зачастую проводились в соответствии с национальной принадлежностью и лояльностью. Это не относится к более традиционным европейским национальным государствам, таким как Франция, Англия, Испания и Швеция, в которых национальная идентичность развивалась в рамках единой монархии. Однако к XIX веку национализм стал самостоятельной силой, что привело к упадку единственного по-настоящему многонационального государства в Европе – Габсбургской монархии.

Рост национальных чувств в современной Европе, предшествовавший созданию новых государств, не позволяет обоснованно утверждать, что такие чувства существовали в более отдаленном прошлом, как это предполагают некоторые историки-националисты. На Балканах в начале XIX века не было национального сознания в современном понимании. Основной барьер разделял правящих мусульман и подчиненных христиан. Греческая православная церковь служила хранилищем лояльностей, выходящих за пределы локальных и родственных связей. В воинственных племенах Черногории, единственной непокоренной части Балкан, признавалась лишь власть своего епископа. При этом турецкий язык использовался в правительственной деятельности, тогда как греческий был языком образования и торговли. Накануне обретения независимости Грецией в Бухаресте издавалось больше книг на греческом языке, чем на территории, ставшей Грецией. Тот факт, что Молдавия и Валахия не находились под прямым османским владычеством, а являлись вассальными княжествами, не способствовал развитию национального сознания. В борьбе против османского владычества главной движущей силой стала религия, наряду с естественной ненавистью к угнетателям. Однако эта борьба способствовала распространению национального чувства в рамках языковых границ. Именно этот фактор оказался решающим при построении новых государств и определении их границ. Сознание национальной идентичности развивалось прежде всего среди греков – представителей диаспоры, которые имели более высокое образование, говорили на языке, не связанном с другими, и вели особый образ жизни, сосредоточенный на торговле.

Польша образует яркий пример национального чувства, которое предшествовало и способствовало созданию государства, что можно объяснить тем, что это было скорее возрождение, чем рождение нации. Образование большинства других государств в Восточной Европе также можно рассматривать как возрождение, однако периоды иностранного правления в этих странах были значительно более продолжительными. Например, в Болгарии иностранное владычество длилось с 1396 года, что ставит под сомнение вопрос о национальной

идентичности, особенно с учетом того, что древние болгары были завоевателями из Центральной Азии, а не славянами, с которыми они в конечном итоге ассимилировались. Старое сербское королевство было разрушено еще раньше, в битве при Косово в 1389 году. Чехи потеряли независимость после подавления их восстания в битве на Белой горе в 1620 году, после чего их земли стали управляться как провинция из Вены. В отличие от этих случаев, разделы Польши в конце XVIII века не привели к полному исчезновению высшего класса или к прекращению производства и распространения литературных произведений на польском языке. Несмотря на эти преимущества, польский патриотизм оказался менее эффективным, чем сербский, в мобилизации крестьянства, которое в Польше подвергалось угнетению и эксплуатации со стороны польского дворянства. В Сербии же борьба за независимость являлась одновременно и борьбой против непосредственных угнетателей. Польское высшее дворянство проявило такую непатриотичность, что согласилось на разделы. Пылкий патриотизм, который возник позже, стал результатом усилий мелких помещиков и нового городского класса интеллигенции, преимущественно происходившего из низшего дворянства. Активисты из этой социальной группы прилагали значительные усилия для прививания национального чувства как крестьянам, так и новому рабочему классу через образовательные ассоциации и литературу. Успех этих попыток был постепенным: восстания 1830 и 1863 годов были инициированы высшими классами, в то время как большинство борцов в восстаниях против немцев 1918 года составляли рабочие.

Чешское дворянство утратило свои позиции и было заменено немецким после 1620 года, что сделало чешский национализм более популистским по сравнению с польским, а значит, более трезвым и менее романтичным. Однако с ростом националистических настроений во второй половине XIX века чешский народ уже не состоял в основном из крестьян, как болгары или сербы. Многие чехи были зажиточными торговцами, ремесленниками, клерками и промышленными рабочими, что обеспечивало им меньшую степень отчуждения по сравнению с жителями других стран, поскольку крупные фабрики практически отсутствовали. Чешский средний класс имел западноевропейский характер и не испытывал презрения к коммерческой деятельности, как это было распространено в Польше и России. В то время как крупные землевладельцы и капиталисты в основном были немцами, чешское национальное движение включало в себя элементы классового конфликта. Созданию государства предшествовали интенсивные усилия по повышению национального самосознания и солидарности через литературу, образование и различные ассоциации. Важным шагом стало начало исследований и написания чешской истории, ранее проводившихся преимущественно на немецком языке и с австрийской точки зрения. Словацкое национальное движение, в свою очередь, обладало еще более сильным элементом классового конфликта, так как словаки были в основном крестьянами, а их господа и правители – венграми. План создания чехословацкого государства был согласован между чешскими и словацкими лидерами в Америке еще до распада империи Габсбургов.

Возможно, литовский национализм стал последним из новых явлений в Европе, возникнув в течение первых двух десятилетий XX века. Около 1400 года Великое княжество Литовское представляло собой крупнейшее политическое образование Европы, простиравшееся от Балтийского до Черного моря. Однако это объединение было результатом стремительных завоеваний, и лишь династия и высшее дворянство обладали литовским происхождением, тогда как самым распространенным языком (в том числе и при дворе) оставался белорусский. Чтобы противостоять угрозе со стороны Тевтонских рыцарей, в начале XV века была заключена династическая уния с Польшей. В следующем столетии две страны объединились под одним парламентом и избранным королем. Литовское дворянство десакрализировалось, потеряв свою языковую и культурную идентичность, и стало играть доминирующую

роль в «республике», состоящей из двух частей: «Короны» и «Литвы». Польско-язычное дворянство и городская интеллигенция идентифицировали себя как литовцы и поляки, считая Литву частью Польши. У крестьян не было четкого национального самосознания, но они продолжали говорить на литовском языке. Из их среды возникла интеллигенция, которая в конце XIX века начала развивать литовский язык и идеи государственности. Литовские националисты столкнулись с двумя главными противниками: российским правительством и польско-язычным дворянством, доминировавшим в культурной и экономической сферах. Элементы классового конфликта способствовали росту национальных чувств среди крестьян. В Литве повышение национального самосознания предшествовало созданию независимого государства, когда рухнула царская империя.

Европейский национализм с самого начала формирования новых государств, а порой даже до этого, стал причиной ожесточенных конфликтов, войн и репрессий. Вскоре после победы над Турцией балканские страны начали вооруженные столкновения друг с другом. Создание независимой Польши сопровождалось конфликтами с украинцами и военными операциями на территориях, на которые претендовали также литовцы. Каждое решение по границам вызывало споры и напряженность. В постколониальной Африке подобных конфликтов было намного меньше, за исключением попытки Сомали аннексировать эфиопские территории, населенные сомалийцами. Первые африканские лидеры, такие как Кваме Нкрума, проповедовали идеи panaфриканизма, в то время как президент Сенегала делал акцент на концепции «негритюда» и писал стихи на французском языке.

В современном контексте Тропической Африки лишь несколько небольших королевств, которые стали протекторатами и никогда не подвергались прямому колониальному управлению, сохранили свои исторические названия, относящиеся к периоду до имперского управления: это Руанда, Бурунди, Свазиленд и Ботсвана. Более крупные государства либо унаследовали названия, присвоенные им европейскими колонизаторами, либо получили новые имена после обретения независимости. Среди европейских стран, за исключением СССР, представляющего собой новое название для старой империи, только одно государство имеет название, придуманное несколько лет спустя после своего основания: Югославия, которая была образована в 1918 году как Королевство сербов, хорватов и словенцев. Хотя это название и было выбрано сознательно, оно все же отсылает к определенной этнической группе – южным славянам. Югославия не без основания также демонстрирует свойства, схожие с африканскими государствами, включая наличие явных тенденций к расколу.

Редкость конфликтов и войн между правительствами Тропической Африки может рассматриваться как позитивный результат низкого уровня национализма. Однако отсутствие эмоциональной привязанности к государству затрудняет его эффективное функционирование и в то же время создает условия для фаворитизма, коррупции и внутренних конфликтов. Можно согласиться с тем, что подобные явления нежелательны, но не всегда ясно, являются ли они лучшим или худшим вариантом по сравнению с агрессивными и воинственными формами национализма, которые до недавнего времени преобладали в Европе.

### *Стратификация*

Во всех африканских странах, включая те, которые декларируют свою марксистскую или социалистическую природу, наблюдается наличие привилегированных элит, чье благосостояние резко контрастирует с нищетой широких масс населения. Большинство этих элит состоят из людей, обладающих значительными финансовыми ресурсами, даже по сравнению с высокоразвитыми обществами. Тем не менее, с некоторыми исключениями, которые будут рассмотрены ниже, социальное неравенство в Черной Африке не проявляет двух особенно-

стей, присущих понятию класса в европейском и латиноамериканском контексте: высокая степень эндогамии и сегрегации в вопросах жилья и совместного проживания. Эти особенности обычно формируются в процессе кристаллизации классовой структуры, однако в большинстве регионов они почти полностью отсутствовали в первые годы независимости. Данное отсутствие (или относительное отсутствие) связано с сильной клановой лояльностью, которая влияет на успех.

В некоторых регионах Тропической Африки сохранялись (или сохранились) доколониальные структуры стратификации. Примером может служить Занзибар, где общество было разделено на непроницаемые касты: на вершине находились потомки арабских работорговцев, а внизу – потомки негритянских рабов. Эта система была нарушена в результате революции, возглавленной бывшим судовым поваром Курумой, во время которой была уничтожена значительная часть правящей касты. Кастовая и расовая дихотомия также имела место (и в некоторых случаях продолжается) в Руанде и Бурунди – королевствах, вероятно, возникших около двухсот лет назад после завоевания земледельцев банту скотоводами с севера, которые отличаются от банту своим более высоким и стройным телосложением. Подобные, хотя и менее четко выраженные, структуры наблюдаются и в других регионах. В Сенегале существуют сложные иерархии неравенства, связанные с религиозными различиями. Распространены также элементарные формы стратификации (типа различий между королевскими (княжескими) кланами и простолюдинами (например, среди зулусов и ашанти). В то же время есть обширные территории, на которых нет традиционных форм стратификации.

В целом, существует значительный разрыв между традиционной стратификацией и постколониальной дифференциацией новых правящих элит и масс. Свазиленд образует уникальный случай, где старый порядок остался неизменным. Эмиры Зарии и Сокото сохранили большую часть своей внутренней власти, но никогда не управляли Лагосом. Их родственник Ахмаду Белло пытался стать лидером Нигерии, но был убит. Во многих новых штатах правители пытались отменить или хотя бы ограничить старые структуры власти. Это подтверждается судебными разбирательствами Нкрумы против королевского клана Ашанти и нападением Милтона Оботе на короля Буганды. Важным аспектом после обретения независимости стало и то, что представители эгалитарных племен, не подвергавшихся угнетению со стороны местной аристократии, оказались более склонными и способными воспользоваться возможностями получения образования, которые предоставляли колониальные правительства и миссионеры, что позволяло войти в постколониальную элиту. Наиболее яркий пример тому – народ ибибио в Нигерии.

Новые правители, обладающие прочными узами клановой солидарности с менее успешными родственниками, щедро перераспределяли преимущества своих должностей на деревни, из которых происходили их предшественники. Возможно, сейчас это не так, но в 1960-х годах в домах состоятельных людей нередко можно было наблюдать целые толпы бедных родственников-нахлебников. В книге об Африке высказывается мнение: многие действия, которые мы обычно определяем как коррупцию, на самом деле могут рассматриваться как «альтруизме». Они часто вытекают из глубокого чувства долга перед родней, которое значительно превосходит любую лояльность государству, которое воспринимается как нечто искусственное и чуждое.

Приведенное выше схематичное описание не вполне применимо к более традиционным государствам Тропической Африки. В Либерии существует привилегированный класс, в основном состоящий из потомков освобожденных рабов, привезенных из Америки; он строго отделен от подвластного ему племенного населения. Однако положение осложнилось после того, как Сэмюэл Доу, неграмотный сержант с Севера, пришел к власти в качестве диктатора. Еще более возросла неопределенность социальных границ в результате гра-

жданской войны 1990–1991 годов. При этом до революции в Эфиопии существовала строго разграниченная стратификация общества.

В отличие от некристаллизованной стратификации в новых африканских государствах новообразованные государства Латинской Америки с самого начала отличались резким контрастом между богатым классом землевладельцев и бедными крестьянами, рабами и рабочими. Классовое неравенство в Испании Фердинанда и Изабеллы напоминало ситуацию в остальной Европе, однако последствия заморских завоеваний, особенно приток золота, заметно усугубили это неравенство. В Латинской Америке завоевание создало пропасть между хозяевами и рабами или крепостными, размеры которой превышали соответствующие различия в Европе. Разумеется, после этого произошло множество изменений, но огромный разрыв между богатыми и бедными сохраняется. Даже официальная статистика, которая в конечном счете занижает реальные показатели из-за уклонения от уплаты налогов, свидетельствует о том, что разрыв между самыми богатыми 10 % и самыми бедными 30 % в Бразилии является одним из самых значительных в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в испаноязычных республиках, хотя там статистические данные нередко бывают еще менее надежными.

Возможно, наиболее значительным изменением XX века стал рост числа представителей среднего класса. Но вопреки ожиданиям, основанным на опыте Западной Европы и Северной Америки, этот рост не способствовал политической стабильности. Напротив, именно паразитическая ориентация среднего класса привела к гипертрофии занятости в непродуктивной бюрократии. В этом отношении средний класс напоминает восточноевропейскую интеллигенцию, которая также уклонялась от торговли и промышленности. Указанные сферы производства в Латинской Америке были преимущественно развиты недавними иммигрантами и их потомками, некоторые из них теперь вступили в ряды высшего класса. В отличие от Соединенных Штатов, где иммигранты зачастую занимали самые низкооплачиваемые и мало квалифицированные должности, в Латинской Америке (включая иммигрантов из Португалии и Югославии, которые не особенно отличаются предпринимательским духом) они обычно сразу же входили в низшие слои делового класса. И все же представители старых аристократических родов, хотя и несколько разбавленные новой кровью, в целом сохранили свое богатство и большую часть своей власти. Исключение составила Мексика, где в результате революции, примерно между 1911–1927 гг., старые роды были в значительной мере вытеснены новыми представителями политических и бюрократических капиталистов. Везде новые богачи переняли презрение асьендеро к рабочим, пренебрегая их интересами и ощущая свою классовую исключительность. В результате политическая жизнь пронизана классово-борьбой, в отличие от Африки, где этнические связи в большей степени определяют политическую расстановку сил.

В докоммунистической Восточной Европе этническая и классовая принадлежность оказывали влияние на политику, однако их значимость варьировалась в зависимости от конкретной ситуации. Наиболее заметные различия в богатстве и социальной сегрегации были менее всего выражены в Болгарии и Югославии, особенно в Сербии, в которых отсутствовали как сложившаяся аристократия, так и традиционный средний класс. На протяжении многих столетий, во времена османского правления, сербы и болгары оставались в основном крестьянами, а их единственными лидерами были священники, поскольку дворянство было уничтожено в ходе завоевания. Османский правящий класс, не будучи полностью турецким с этнической точки зрения, представлял собой группу, в которой основным барьером выступала религия. Он состоял из солдат, чиновников и их окружения, а также людей, которых можно было считать захватчиками земли, а не подлинными землевладельцами. Эти категории в значительной степени пересекались. Мусульманские ремесленники и торговцы встречались ред-

ко, большинство из них были армянами, греками или евреями, тогда как крупные торговцы в основном происходили из греческой общины. В период расцвета Османской империи вся земля находилась в собственности султана, который наделял ее в виде временных даров своим *сипахам* в обмен на военную службу. Эти правители не являлись дворянами в европейском понимании, поскольку у них не было устоявшихся прав на землю и статус, и они могли быть лишены всего этого по произволу султана или пашы. По мере ослабления центрального контроля в начале XVIII века они начали рассматривать свои феодальные владения как наследственную собственность, что привело к резкому увеличению поборов с крестьян. Тем не менее, эти земли не превратились в крупные единицы производства, оставаясь территориями, с которых землевладельцы собирали доход, полученный крестьянами собственными методами в основном в натуральной форме. Поэтому изгнание османского землевладельческого класса не привело к значительным изменениям в производственных процессах.

Сербы и болгары стали формироваться как крестьянские нации во второй половине XIX века. В этом контексте барьеры между классами напоминали структуру новых африканских государств больше, чем европейских стран. В отличие от Польши, политический класс и интеллигенция этих обществ имели крестьянские корни. По мере укрепления новых элит классовые различия усиливались, но даже в Югославии между двумя мировыми войнами они оставались менее выраженными, чем на севере Европы. Многие политики поддерживали дружеские отношения с крестьянами, и, учитывая небольшое количество евреев (в отличие от Польши, Венгрии и Румынии, где они доминировали в торговле), у балканских крестьян было больше возможностей подняться по социальной лестнице посредством торговли.

Венгерская аристократия в XX веке выделялась среди европейских аристократий своим чувством гордости, исключительности и власти. Однако Венгрию нельзя считать новым государством, поскольку, несмотря на то что в первой половине XIX века она управлялась централизованно из Вены немецкоязычными бюрократами, она оставалась наследственным королевством под контролем Габсбургов. Среди новых государств Польша обладала наиболее древним и престижным дворянством, которое доминировало в королевстве до его разделов, способствуя утрате королевской власти и упадку купеческого класса. В независимой Польше межвоенного периода аристократия не управляла страной, но имела большой престиж и богатство, а также косвенное влияние. За семь лет демократии в парламенте были представлены люди из разных социальных классов, включая премьер-министра Витоса, который происходил из крестьянского сословия. Ставший диктатором Пилсудский был по происхождению мелким помещиком, но его главные помощники, правившие после его смерти, не были аристократами, хотя среди них не было и бывших рабочих. Почти все они были выходцами из класса, известного как интеллигенция.

Значение слова «интеллигенция», которое часто пишется по-английски как *«intelligentsia»*, обычно неправильно понимается на Западе, где его нередко отождествляют с терминами «интеллектуалы» или «литературные и художественные круги», а иногда даже с понятием «идеологи». В Восточной Европе это слово обозначало большой класс, находившийся ниже помещиков и выше рабочих и крестьян. В состав его членов входили люди, обладающие следующими характеристиками: (1) они занимались нефизическим трудом, при исключении торговли; (2) имели дипломы об образовании; (3) обладали хорошими манерами и лишь поверхностным пониманием того, что считалось «культурой». В отличие от среднего класса Западной Европы, среди интеллигенции не встречалось бизнесменов. Торговая деятельность, ростовщичество и обмен почти полностью находились в руках евреев, которые не считались частью польской, румынской, венгерской или русской наций. За пределами Балкан большинство представителей этого класса происходили от обедневших дворян, но даже те,

у кого не было такого происхождения, быстро перенимали манеры и отношение знати, в особенности презрение к ручному труду и к любой коммерческой или промышленной деятельности.

У румын не было сплоченного дворянства с традицией независимости, как у поляков или венгров, но они не являлись и крестьянской нацией, как болгары или сербы. Последние находились под османским правлением, тогда как Валахия и Молдавия, из объединения которых в 1859 году возникла Румыния, представляли собой вассальные княжества со значительной автономией. Князья этих земель обладали деспотической властью над своими подданными, сопоставимой с властью султана. Таким образом, дворяне не имели защищенных прав и статуса. В итоге султаны стали отказываться от местных династий, назначая князей (часто извне) на ограниченные сроки, подлежащие замене по их усмотрению. В период с 1716 по 1821 годы все князья были греками. Их пребывание на посту зависело от того, сколько денег они могли собрать для султана и в качестве подарков сановникам в Стамбуле. В результате бесцеремонная эксплуатация стала нормой на всех уровнях социальной иерархии. Это наследие оказало значительное влияние на социальные отношения в независимом королевстве, и, вероятно, нигде в Европе простые люди не подвергались столь жестокому обращению.

### *Диктатуры*

Все конституции латиноамериканских государств были разработаны по образцу Конституции Соединенных Штатов и на протяжении долгого времени оставались в значительной степени декоративными; в некоторых случаях это сохраняется и по сей день. Исключением является Чили, где, вскоре после обретения независимости, начало функционировать довольно упорядоченное, хотя и строго олигархическое, парламентское правительство. Испано-американские республики возникли до появления железных дорог и телеграфа, что создавало трудности с поддержанием порядка на обширных и малонаселенных территориях, особенно когда преданность короне, укорененная в традициях и поддерживаемая церковью, перестала исполнять свою роль. В результате «правительство» зачастую сводилось к личному господству лидеров самой сильной группы гаучо. Потребовались десятилетия (в отдельных случаях, как в Венесуэле, почти столетие), чтобы наладить регулярный механизм управления. Современные средства транспорта и связи предотвратили подобную анархию в африканских государствах, хотя некоторые из них по-прежнему сталкиваются с внутренними конфликтами. Наиболее близкое (но все же отдаленное) соответствие условиям ранней Латинской Америки можно было наблюдать в начале XIX века в той части Османской империи, которая переживала процесс становления в качестве Сербии.

Когда британские и французские колонии в Африке обрели независимость, им были даны конституции, разработанные по образцу, инициированному в основном Лондоном и Парижем. Однако этот процесс привел к появлению авторитарных режимов, где осуществлялся принцип «один человек, один голос, один раз». В большинстве случаев правительства стали авторитарными, сочетая элементы личной диктатуры и однопартийной системы. Это частично объясняется тем, что, до получения независимости, сообщества находились под контролем колониальных чиновников, что не позволило ни политикам, ни простым гражданам усвоить принципы парламентской демократии. Однако важнейшими факторами, препятствовавшими успешному внедрению демократии, стали растущая нищета населения и этническая разнородность. Каждого из этих факторов было достаточно, чтобы помешать успешному внедрению демократии. Правительство, основанное на свободных и честных выборах со всеобщим избирательным правом, требует умеренности и терпимости. Широкое распространение

ние нищеты делает такие качества крайне редкими. Даже при отсутствии массового голода радикальная бедность часто становится причиной краха демократических институтов, как это произошло в Центральной и Восточной Европе в 1930-х годах. Отчаявшиеся люди легко поддаются соблазну насилия, подстрекаемые демагогами. В условиях глубокой нищеты, царящей в различных регионах Африки, ситуация усугубляется: голодные молодые люди, не имеющие перспектив работы, могут присоединиться к любой вооруженной группе, готовой предложить им средства для борьбы за все более дефицитные товары. В таких обстоятельствах власть может исходить лишь из дула пистолета.

Когда этническая неоднородность достигает определенного уровня, она может существенно подорвать основы демократии, поскольку политическая арена формируется в соответствии с этническими разделами. В условиях, когда партийная лояльность определяется этнической принадлежностью, голосование теряет свою значимость: более крупные этнические группы всегда доминируют. Отсутствие «плавающих» избирателей, способных изменить свои предпочтения, делает программы и манифесты партий в значительной степени бесполезными. Даже такие когда-то монолитные структуры, как коммунистические партии СССР и Югославии, сталкиваются с внутренними расколами, обусловленными этническими факторами. Этнические подразделения в африканских государствах препятствуют формированию наций, и, хотя такие подразделения зачастую многочисленны, они, как правило, не приводят к резким конфликтам, за исключением случаев, когда они совпадают с религиозными барьерами между мусульманами и христианами, как это наблюдается, например, в Судане или Чаде.

Учитывая этническую неоднородность и отсутствие чувства национальной солидарности, можно выделить два основных метода сохранения целостности территории, унаследованной от колониальных правителей. Первый метод заключается в применении грубой силы со стороны доминирующей группы или сторонников диктатора, о чем свидетельствует правление Иди Амина в Уганде. Второй, более изощренный метод, предполагает создание политической партии, в рамках которой привилегии распределяются этнически справедливо. Это способствует формированию кросс-этнической элиты, которая заинтересована в защите целостности государства, от которой зависят их благосостояние и влияние. Такой подход оказывается более эффективным, когда в стране присутствует множество мелких этнических групп, а не два-три четко разграниченных блока. Примеры успешных правителей, использующих такой метод, включают Уфуэ-Буаньи в Кот-д'Ивуаре и Даниэля Мои в Кении. Похоже, что в Зимбабве Роберт Мугабе также склоняется к подобной политике. Такая стратегия создает классовые интересы, которые пересекают этнические подразделения. Однако неограниченная избирательная конкуренция в конечном итоге может подорвать этот тип межэтнического союза, который основывается на общих привилегиях.

Новые государства Европы, возникшие до Первой мировой войны, начинали свою историю как монархии. Сербия находилась под властью местной династии Обреновичей, тогда как Румыния, Болгария и Греция получили свои династии из Германии. Во всех этих странах короли обладали значительными полномочиями, однако им приходилось делить их с представительными органами, основанными на ограниченном избирательном праве. Образованные на руинах Первой мировой войны государства возникли как демократии, одновременно старые монархии начали эволюционировать в сторону демократизации за счет расширения избирательного права. Таким образом, примерно к 1920 году все восточноевропейские государства были более или менее демократичными. Но в 1938 году положение кардинально изменилось: за исключением Чехословакии все они стали диктатурами. В Румынии, Болгарии и Югославии короли взяли на себя диктаторские полномочия, хотя фактически только в Румынии Кароль II управлял страной лично. Возникает вопрос: можно ли обнаружить общие

сходные факторы, способствовавшие падению демократии в Восточной Европе и в Африке? Расщепляющие тенденции демократии среди многоэтничного населения, которые стали решающим фактором в африканском контексте, имели важное значение лишь в Югославии. У короля Александра были основания полагать, что конкуренция между этническими партиями может разорвать его королевство на части.

В государствах Восточной Европы наблюдалось явное этническое доминирование одной нации, что снижало риск распада государств на фоне выборов по этническому признаку. Однако наличие значительных меньшинств, представленных собственными партиями, усложняло функционирование парламентской системы, поскольку ни одна из партий ведущей нации не могла набрать абсолютное большинство. Этнические конфликты, особенно антисемитизм, подрывали дух терпимости и компромисса, необходимый для стабильного демократического процесса. В то же время последствия бедности, особенно обнищание, имели глубокое влияние на общественные настроения. Хотя нищета в Восточной Европе не достигала уровней, наблюдаемых в большей части Африки сегодня, она была достаточно серьезной, чтобы вызывать недовольство и серьезные общественные противоречия. Подобно современным африканским странам (хотя в меньшей степени), долгосрочным фактором обнищания выступал более быстрый рост населения по сравнению с экономическим благосостоянием, тогда как краткосрочными катализаторами стали войны и мировой экономический кризис 1930-х годов. Важно отметить, что классовая борьба в Восточной Европе была значительно более интенсивной, чем в Африке, за исключением таких стран, как Занзибар, Эфиопия и Либерия, и именно она играла ключевую роль в возникновении диктаторских режимов. В этом контексте Восточная Европа более похожа на Латинскую Америку, чем на Африку.

Для европейских диктатур характерна меньшая степень клептократии по сравнению с африканскими и латиноамериканскими, поскольку правители и элиты находились под сильным влиянием националистических настроений. Это связано еще с одним фактором, который четко отличает европейские государства от африканских и латиноамериканских: милитаризм, который полностью отсутствовал в последних. В Латинской Америке часто упоминают милитаризм, подразумевая под ним правление военных – явление, которое можно называть «милитократией», чтобы отличить его от европейского понимания милитаризма. В европейском контексте милитаризм подразумевает политику подготовки всего общества к войне, включая пропаганду воинских добродетелей и воинственных настроений, а также возвышение профессии военного. При этом не предполагалось, что военные должны править; напротив, акцент делался на служении. В преддверии Первой мировой войны в Европе существовал значительный милитаризм, однако военные диктатуры не были широко распространены. Однако в Восточной Европе между двумя мировыми войнами многие считали, что политическая нестабильность, сопровождавшая парламентское правление, несовместима с военной силой, требующей единства. Например, такая идея лежала в основе действий Юзефа Пилсудского, который стал диктатором Польши в 1926 году (см. Главу 9).

Теперь возникла возможность рассмотреть четыре более ранних государства, в которых диктатуры были менее непосредственно связаны с милитаризмом. Несмотря на процветание яростного национализма в Венгрии диктатура Миклоша Хорти возникла на фоне гражданской войны против коммунистов, которые захватили власть в результате восстаний, последовавших за падением империи Габсбургов в 1918 году. Режим Хорти, аналогичный режиму Франко в Испании (в отличие от фашистских режимов), был реакционным: он стремился восстановить утраченное богатство, статус и политическое влияние аристократии, разрушенные коммунистами. Хотя ранее венгерское дворянство и поддерживало симбиотические отношения с евреями, правительство Хорти проявляло явный антисемитизм, учитывая значительную роль евреев в коммунистической революции. Наиболее заметными фигурами

этого процесса были лидер партии Бела Кун и начальник его полиции Самуэли. Тем не менее, пока у него была власть, Хорти противостоял требованиям Гитлера выдать евреев.

В 1938 году, когда король Румынии Кароль II сосредоточил в своих руках диктаторские полномочия, это стало концом длительного упадка парламентского правления. Будучи наследственным монархом с обширными конституционными правами, он смог воспользоваться нестабильностью политической системы, возникшей на фоне коррупции, партийной вражды и недолговечных коалиций. Введенное в 1917 году всеобщее избирательное право, несмотря на его декларативность, не смогло обеспечить честность выборов, которые нередко искажались с помощью запугивания и мошенничества. Экономические проблемы способствовали укреплению популярности Железной гвардии – фашистской группировки, отличавшейся жестокостью и клерикальными наклонностями. Кароль II позволял полиции игнорировать ее нападения на либеральных политиков, но вскоре, когда страх достиг своего предела, он обратил силовиков против Железной гвардии, становясь фактическим правителем. Но после падения Франции его влияние ослабло и король отрекся от престола в 1940 году. Новый режим был сформирован под руководством генерала Антонеску и лидеров Железной гвардии, которые вскоре развязали массовые репрессии. Столкнувшись с неконтролируемостью Железной гвардии, Гитлер после недолгого периода попустительства разрешил Антонеску завершить расправу с ее лидерами. В отличие от венгерских фашистов, быстро потерявших влияние, Железной гвардии так и не удалось восстановить свою власть.

Болгария оказалась наиболее подверженной насилию из всех стран Восточной Европы между мировыми войнами. Подобно другим балканским государствам здесь сохранялось османское наследие, проявлявшееся в игнорировании ограничений на использование власти и нежелании идти на компромиссы. После изгнания турок болгарское общество оставалось преимущественно крестьянским, однако вокруг двора короля, «импортированного» из Германии, сформировался новый класс бюрократов и офицеров. Подобно постколониальной Африке, стремительный экономический рост некоторых представителей вызывал зависть и аппетит у многих других. В отличие от венгерской знати, болгарская элита не выработала четких правил политического взаимодействия, что способствовало обострению ненависти. В результате жестокая борьба между богатыми и бедными сопровождалась интенсивными внутренними конфликтами внутри политического класса.

Вступление Болгарии в войну на стороне Германии встретило значительное сопротивление среди населения, которое традиционно поддерживало дружеские отношения с Россией, освободившей Болгарию от османского владычества. Это усиливало недовольство, вызванное страданиями от войны, и в конечном итоге привело к мятежам и крушению фронта – первому среди Центральных держав. После масштабных беспорядков были проведены выборы, на которых победило Крестьянское движение, возглавляемое Александром Стамболийским, ставшим премьер-министром. Он инициировал перераспределение крупных поместий и принял ряд реформ, направленных на поддержку бедных и профсоюзов. На ключевые посты в правительстве были назначены многие представители крестьянства, что лишь усилило напряжение среди привилегированных классов. В 1923 году произошел переворот, в результате которого Стамболийский был жестоко убит, а Крестьянское движение, как и последующее коммунистическое восстание, было подавлено с большой жестокостью. Тем не менее, устойчивая диктатура не была установлена: власть разделилась между бюрократами, генералами и мафиозной организацией, известной как македонские террористы, члены которой находились внутри армии. В конечном итоге генералы решили атаковать террористов и в 1933 году установили типичную военную диктатуру. Однако это правление продлилось недолго, так как король сумел переиграть генералов и установил абсолютную монархию, которая продлилась до поражения Болгарии во Второй мировой войне.

Хотя захват власти Пилсудским частично можно объяснить стремлением обеспечить безопасность страны, установление диктатуры генерала Метаксаса в Греции, чья независимость имела долгую историю и не сталкивалась с непосредственной угрозой, было обусловлено внутренними конфликтами. В дополнение к общеизвестной борьбе между богатыми и бедными, политический класс Греции находился в состоянии глубокого раскола, вызванного ожесточенной борьбой между роялистами и республиканцами, возглавляемыми Венизелосом. Последние смогли создать республиканское правительство в 1916 году при поддержке союзников, которые изгнали прогерманского короля. Монархия в стране была окончательно отменена в 1923 году.

Греция в начале XX века переживала тяжелые испытания, и последствия ее участия в Первой мировой войне только усугубили финансовые и социальные трудности страны. Неудачное завершение войны с Турцией привело к изгнанию трех миллионов греков, что увеличило уже существующие проблемы. В 1935 году, на фоне политических конфликтов и беспорядков, был приглашен на престол свергнутый король Георг II. Однако восстановление монархии не разрешило кризис, так как старые противоречия усугубились Великой депрессией. Бедные слои населения испытывали серьезные социальные волнения, в то время как парламентские выборы зашли в тупик между ведущими партиями, что сделало Коммунистическую партию де-факто арбитром политической ситуации. Этот раскол среди более богатых классов вызвал тревогу, и в результате генерал Метаксас, получив одобрение короля, установил диктатуру. Он управлял страной до начала итальянского вторжения в 1940 году. Эта диктатура может рассматриваться как следствие классового конфликта, в то время как приход к власти полковника Пападопулоса в 1967 году был больше связан с узкокорыстным стремлением небольшой группы к власти, нежели с глубокими социальными противоречиями.

Интересное взаимодействие между национализмом и диктатурой наблюдается в прибалтийских республиках. В 1918 году, вместе с другими западными регионами царской империи, они оказались под немецкой оккупацией. После капитуляции Германии на Западе, большевики попытались установить контроль, однако их силы были еще недостаточно крепки, чтобы справиться с национальными ополчениями. В отличие от литовцев, латыши и эстонцы не могли оперировать богатой историей для укрепления своих национальных чувств; их новые государства были столь же молодыми, как и новообразованные государства в Тропической Африке. Тем не менее, важно отметить, что в этих регионах границы, как правило, соответствовали этническим и языковым принадлежностям, а сепаратистские настроения предшествовали провозглашению независимости.

В XII веке языческие племена, обитавшие к северу от Литвы, были покорены немецким орденом монахов-воинов, напоминающим тевтонских рыцарей, которые ранее завоевали племена на западной стороне Литвы. В период Реформации монахи приняли лютеранство и стали помещиками. В ходе борьбы за эту территорию между Польшей, Швецией и Россией, а также в результате двух столетий шведского правления и завоевания Петром Великим, немецкое дворянство сохранило свою власть над неграмотными латышскими и эстонскими крепостными до отмены крепостного права в России в 1861 году. Одним из ключевых этнических изменений в этот период стал приток евреев. Балтийские бароны сыграли значительную роль в Российской империи, начиная с момента, когда Петр Великий выбрал их в качестве инструмента модернизации. Они представляли собой значительное количество кадров на вершине государственной службы и в офицерском корпусе, иногда составляя большинство. Кроме того, среди богатых купцов балтийских городов, имеющих ганзейское происхождение, также преобладали немцы, в то время как в более мелком бизнесе активно работали евреи.

Рига в качестве ключевого порта Российской империи, сформировала значительный рабочий класс, который, наряду с нерелигиозными евреями, оказал значительную поддержку большевикам. Это влияние было особенно заметно среди комиссаров ЧК, предшественника КГБ, что усилило ощущение опасности среди латышских националистов. В отличие от Риги, в Эстонии города были менее развиты, а число промышленных рабочих оставляло желать лучшего. Литва же была еще более аграрной. Ранняя аграрная реформа, завершившаяся с уничтожением польско-литовского дворянства, которое уже значительно сократилось в результате экспроприаций, осуществляемых царями после польских восстаний, привела к тому, что элита стала в основном бюрократической. Ведущие позиции в торговле занимали представители еврейской общины.

Конституции, принятые при образовании трех республик, были созданы по образцу французской, которую тогда считали образцом демократии. Первоначально национализм способствовал укреплению демократических институтов, поскольку значительное большинство населения объединялось для перераспределения имущества этнических иностранцев. Однако после достижения этой цели объединяющий эффект национализма стал угасать. Несмотря на то что Латвия была наиболее развита с экономической точки зрения, именно она больше всего пострадала от ухудшения торговых отношений с Россией. В итоге, демократические режимы были свергнуты: в Литве – в 1926 году, а в Латвии и Эстонии – в 1932 году.

Установление диктатуры в Литве можно сопоставить с аналогичными процессами в постколониальной Африке. В условиях простой экономики, в которой торговля сосредоточена в руках этнических иностранцев, зачастую действующих вне закона, занятость в бюрократии и политике становятся единственным путем к высокому статусу и богатству. Внезапный успех некоторых акторов ускорил стремление многих других к власти и влиянию, что, в свою очередь, усугубило политические конфликты при отсутствии укоренившихся традиций, способных сдержать или направить эти противоречия. В качестве католиков литовцы, возможно, были более склонны к авторитарным режимам, чем латыши и эстонцы, чьи лютеранские общины придерживались более демократических принципов. Кроме того, на литовское общество значительное влияние оказал переворот Пилсудского в Польше в том же году. Их стремление к насильственному строительству нации оказалось несовместимым с гражданскими свободами. Диктатура Антанаса Сметоны отличалась значительно более жесткими мерами по сравнению с режимом Пилсудского: оппозиция была полностью подавлена, однако при этом существовала бюрократически организованная псевдомассовая партия, поддерживающая правительство – Союз литовских националистов.

В Латвии падению демократии предшествовало обострение конфликтов, вызванных Великой депрессией. Аграрии, представленные партией крестьян, имели большинство в парламенте и находились у власти, когда их лидер Карлис Ульманис приостановил действие конституции и начал править посредством указов, утверждая, что общественный порядок находится под угрозой социалистической агитации. Он проводил политику этнического национализма, аналогичную той, что пропагандировала Национальная партия в Польше, но не смогла реализовать ее, находясь в оппозиции. Ульманис использовал авторитарные методы для поддержки доминирующей нации, ущемляя права меньшинств как в сфере государственной занятости, так и в частном бизнесе через дискриминационные налоговые оценки, ограничение доступа к кредитам и принудительные закупки, вплоть до экспроприации.

В том же году в Эстонии лидер правящей крестьянской партии Константин Паэкс стал авторитарным президентом. Этот случай заслуживает особого внимания, поскольку Паэкс предпринял шаги, которые могли бы быть реализованы фон Гинденбургом в Германии: он принял ограниченные диктаторские полномочия, сохранив при этом некоторые гражданские

свободы, с целью предотвратить приход к власти фашистской партии. Эта партия возникла в результате преобразования прежде безобидного объединения бывших комбатантов и была более радикальной, чем преобразование Национальной демократической партии в полуфашистскую Национальную партию в Польше, что также было вызвано экономическими трудностями. Эстонская фашистская организация более точно подражала методам нацистов, используя насилие, запугивание и демагогию. Казалось, что она имела все шансы на победу на выборах, когда Паэрт приостановил действие конституции. Его диктатура оказалась значительно мягче, чем в Латвии или Литве, где режимы были более жестокими. По своему ограниченному и сравнительно терпимому характеру эстонская диктатура напоминала польскую.

Диктаторы в странах Балтии восхищались Муссолини и активно заимствовали элементы символики его режима. Хотя они также испытывали влияние Гитлера, их отношение к нему было в основном определено страхом, особенно в случае Антанаса Сметоны, чья страна граничила с Германией. Эти правительства, возможно, отражая менталитет крестьян, добились значительных экономических успехов: с 1933 по 1939 год уровень благосостояния в регионе рос быстрее, чем в любой другой части Европы. Ярким примером этой тенденции является Латвия, где, по имеющимся данным, в период с 1934 по 1939 годы промышленное производство практически удвоилось, производительность сельского хозяйства увеличилась на две трети, а чистая прибыль средней крестьянской фермы более чем утроилась. Вероятно, этот рост остается мировым рекордом. На этом фоне контраст с ситуацией в Африке просто поразителен.

### *Глава 16. Значение империализма и некоторые связанные с ним концепции*

Исследования мира, не связанные с общей социологией и политологией, представляются абсурдными, поскольку мир определяется отсутствием войны, а война, в свою очередь, является его антиподом. Поэтому невозможно сделать полезные выводы о мире, не рассматривая детали конфликта, ведь сотрудничество и конфликт представляют собой два полюса, между которыми колеблются все человеческие действия. В процессе изучения таких тем часто возникает путаница из-за нечетких и противоречивых концепций. В связи с этим будет уместно прояснить некоторые часто употребляемые термины.

Например, слово «империализм» в самом широком смысле обозначает стремление социальной единицы, которая не обязательно является государством, к расширению своего жизненного пространства. Поэтому можно говорить о «ведомственном империализме», подразумевая стремление департамента увеличить свою сферу деятельности и численность персонала. Обычно, когда речь идет об империализме, надо иметь в виду еще одно уточнение: расширение связано с изъятием ресурсов у других групп. В случае «ведомственного империализма» это может проявляться в спорах и интригах за доступ к общим фондам. В более строгом политическом контексте империализм часто приводит к войне и подчинению, поскольку государства редко уступают территорию, если их к этому не принуждают. На самом деле, можно определить империализм еще проще как склонность к завоеванию, при этом важно понимать, что склонность не равнозначна реализации. До недавнего времени, когда массовый пацифизм, во многом вдохновленный страхом атомной катастрофы, начал набирать популярность, все государства мира проявляли империалистические тенденции, включая и тех, кто стал его жертвой.

Обычно термин «империализм» используется в более узком смысле по сравнению с тем, который указан ранее. Например, покорение частей Африки британцами и французами повсеместно называется «империализмом», в то время как территориальная экспансия Соединенных Штатов (или даже российское завоевание Северной Азии) не получает такого наименования. Возможно, это связано с умением лучше вести пропаганду; однако, если мы по-

пытаемся найти оправдание этой разнице в терминологии, то сможем обнаружить ее не в сущности процесса – который во всех случаях был войной и завоеванием – а в характере конечного результата. Таким образом, можно утверждать, что французские и британские вторжения в Африку действительно создали империи, в то время как американские завоевания на континенте этого не сделали, так как они привели к истреблению или перемещению побежденного населения, а не к его порабощению.

В прошлом термин «империя» использовался для обозначения государства, которое стремится обрести большой авторитет по сравнению с обычным королевством, хотя в настоящее время такой смысл зачастую имеет негативную коннотацию. Если мы хотим использовать этот термин в серьезном анализе, необходимо определить его смысл на основе ключевых характеристик политической системы, а не ограничиться ее названием. Можно считать «империю» таким государством, территория которого удерживается посредством принуждения, при котором население больших регионов не ощущает единства. Напротив, национальное государство характеризуется тем, что подавляющее большинство его граждан желает оставаться в едином государстве, даже если оно не одобряет своих правителей или систему правления. По этому критерию империя кайзера Вильгельма была национальным государством, а не империей, в то время как образование, определенное Варшавским договором, фактически представляло собой империю. Это относится и к самому СССР, учитывая наличие многочисленных скрыто диссидентских меньшинств. По этому критерию практически все государства в Африке можно рассматривать как империи, а не нации, даже если они небольшие и называют себя федерациями или республиками. Если сравнить гитлеровскую Германию до марта 1939 года, которая по критерию сплоченности была почти идеальным национальным государством, с Британской империей того же времени, станет ясно, что империей можно управлять более либерально и благожелательно, чем национальным государством.

Не всякая империя обязательно должна быть колониальной; она может принимать унитарную форму типа царской России. В качестве отличительных характеристик можно выделить единообразие законов и конституционное равенство между регионами и этническими группами. Римская империя перестала быть колониальной и стала унитарной после указа Каракаллы, который наделил всех жителей статусом граждан. К тому времени их конституционное положение было уравнено в результате прогресса деспотизма, который сделал всех одинаково бесправными в отличие от периода Республики, когда римские граждане коллективно управляли и эксплуатировали завоеванные провинции. Тогда как Габсбургская монархия колебалась между колониальными и унифицированными формами управления.

Колониализм можно определить как метод управления империей, который основывается на строгом и глубоком различии между правящей нацией и подчиненным (колониальным) населением. Это различие проявляется как в юридическом, так и в практическом аспектах. Наиболее ярко такая ситуация возникает в результате завоевания отдаленного региона (возможно, разделенного горами или морями), где местное население отличается как физическими характеристиками, так и культурой. Тем не менее, эти условия не являются обязательными. Ярким примером служит нацистский колониализм в Восточной Европе, который опирался на псевдорасистские идеи, основанные на вымышленных расовых различиях.

Поскольку деспотизм унижает всех до бесправия, в конечном счете он несовместим с колониализмом, который влечет за собой неравные права. Британская и Голландская империи служат яркими примерами этого принципа: в метрополии наблюдался либерализм, демократия и стирание классовых барьеров, в то время как в колониях царил бюрократический авторитаризм и расовая сегрегация. Однако это не означает, что колониализм обязательно приводит к большему угнетению или эксплуатации, чем унитарный режим. После отмены рабства ни с одним подданным Британской империи не обращались столь беспощадно, как

с русскими при Сталине, хотя СССР не был колониальной империей в вышеупомянутом смысле. Однако можно утверждать, что в целом советский блок представлял собой пример колониализма, поскольку состоял из четко разграниченных гегемонистских единиц и подчиненных стран. С другой стороны, советская система не соответствовала другому критерию неравенства: в отличие от британцев и французов в имперскую эпоху простые россияне не только не имели привилегий по сравнению с венграми или поляками, но и были намного беднее последних с точки зрения материального благополучия, свободы и личной безопасности. Более того, экономическая эксплуатация сателлитов (в форме обязательных поставок по ценам значительно ниже мировых) быстро прекратилась после смерти Сталина и полностью исчезла в 1980-е годы. Не менее рационально рассматривать политику увековечения экономической специализации между колониями и метрополией как одну из основных черт колониализма, при которой колонии поставляли сырье, а метрополия оставалась главным источником производства. В эпоху меркантилизма и в Испанской империи эта дифференциация поддерживалась явными законами и правилами, но даже в период свободной торговли все государственные инвестиции, расходы и образовательная политика основывались на этом принципе и способствовали его сохранению. В этом контексте Советская империя также отличалась: одной из ее главных черт было принуждение вассальных государств следовать ее примеру, что способствовало быстрой индустриализации.

Концепция деколонизации образует процесс отказа от власти над колониями и предоставления им статуса суверенных государств, что само по себе законно и не вызывает особых споров. Но остается дискуссионным вопрос: привел ли этот процесс к независимости *де факто* или ограничился лишь юридическим оформлением, которое сопровождается фактическим господством иностранцев? Это сочетание часто рассматривается как суть неоколониализма и неоимпериализма. Указанные два понятия можно различить следующим образом: неоимпериализм подразумевает контроль, тогда как неоколониализм включает в себя использование этого контроля для увековечения основных черт традиционной колониальной ситуации, таких как экономическая взаимозависимость и культурное подчинение. В соответствии с этим определением неоколониализм влечет за собой неоимпериализм, но не наоборот, поскольку последнее является более широкой концепцией. Советское господство в Восточной Европе полностью вписывается в рамки неоимпериализма, но лишь частично соответствует неоколониализму, поскольку русские стремились сделать своих сателлитов похожими на СССР, а не создавать систему экономической специализации в традиционном колониальном ключе. Более того, несмотря на способность русских навязывать внешнее соответствие своим принципам, в советском блоке отсутствует аналог колониального неравенства статуса в личных отношениях между членами доминирующей и угнетенной наций. На самом деле, последние нередко смотрят на русских скорее снисходительно, чем с восхищением, и считают их менее цивилизованными (во многом безосновательно).

Советский неоимпериализм представляет собой наиболее очевидный и, в некотором смысле, устаревший подход, поскольку, как и колониальные империи прошлого, он в основном полагается на силу оружия. Основное отличие заключается в юридической фикции суверенитета сателлитов. Менее очевидной является форма неоимпериализма, которая не прибегает к вооруженным силам, достигая и поддерживая контроль в значительной степени через культурное влияние, но в первую очередь через манипуляции с богатством, что и обуславливает название «экономический империализм».

Важно проявлять осторожность в интерпретации смыслов, поскольку указанные понятия постоянно искажаются в политических дискуссиях, подобно множеству других терминов. То, что для одного человека является «экономическим империализмом», для другого может казаться «помощью». Более того, существуют региональные различия в их использо-

вании: в контексте Африки часто говорят о «неоколониализме», тогда как в Латинской Америке – об «экономическом империализме», хотя в обоих случаях описываемые явления имеют схожие свойства.

Во многих публикациях и дебатах обычные списки иностранных инвестиций рассматриваются как доказательства неоколониализма или экономического империализма, будто бы вложение капитала в страну само по себе является формой эксплуатации, которая (если это слово вообще имеет смысл) подразумевает изъятие богатства. Не существует никаких *априорных* причин, по которым инвестирование за границей должно быть более зловещим, чем вложение денег в бизнес в собственной стране. Чтобы сделать этот термин приемлемым для политологического анализа, а не просто использовать его как пропагандистское ругательство, я предлагаю применять ярлык «экономический империализм» лишь в тех случаях, когда: (1) иностранцы получают влияние на правительство экономическими средствами, особенно если это происходит тайно и незаконно, и (2) эта приобретенная власть используется для манипуляции с целью обеспечения иностранцам прибыли от инвестиций или торговли, превышающей ту, что могла бы быть получена в результате нормальной работы рыночного механизма. Самый простой случай состоит из укоренившейся монополии, полученной путем взяточничества. Тем более что эксплуатацию ограниченных природных ресурсов легче монополизировать, чем само производство. Наиболее яркие примеры экономического империализма можно найти в «банановых республиках» и «нефтяных шейхствах». Условиями функционирования такой системы являются: (1) безответственная власть и коррумпированность правителей; (2) полное отсутствие патриотизма и заботы о благосостоянии граждан с их стороны, что позволяет иностранцам избегать более крупных платежей (которые просочились бы к большинству местных жителей) ценой помещения меньших сумм в карманы политиков; и (3) способность иностранцев предлагать достаточно крупные стимулы, что усиливается за счет масштабов иностранных компаний по отношению к совокупному богатству страны, в которой они функционируют.

Хотя экономический империализм в настоящее время проявляется в смягченной форме, он может осуществляться одной индустриализированной страной по отношению к другой. Многие люди выражают недовольство американским экономическим империализмом в Европе. Случай неоколониализма, при котором манипуляции осуществляются исключительно экономическими методами без участия вооруженных сил, также можно отнести к экономическому империализму. Другими словами, эти два термина следует рассматривать как в значительной степени (хотя и не полностью) пересекающиеся.

Сохранение термина «культурный империализм» возможно обосновать в серьезном дискурсе лишь в том случае, если провести строгую грань между ним и двумя связанными с ним терминами: прозелитизм и ассимиляция. Такое различие возможно при указании: прозелитизм в основном связан с религиозными вопросами, тогда как ассимиляция касается государственного устройства. В свою очередь, культурный империализм охватывает ситуации, которые не приводят к смене религии или национального чувства. Однако этого различия недостаточно, поскольку оно позволяет отнести к культурному империализму все случаи распространения идей и мод из одной страны в другую. Поэтому я предлагаю определить культурный империализм как намеренное использование политической и экономической власти для привития иностранцам ценностей и привычек, распространенных в собственной нации, без намерения сделать их частью этой нации.

Хотя культурный империализм может существовать как самостоятельное явление, он нередко служит средством экономического империализма. Обращение к ценностям и вкусам доминирующей нации способно сделать подражателей более восприимчивыми к манипуляциям со стороны ее представителей. Чувство неполноценности, возникающее из стремления

превзойти иностранцев в языке, манерах или одежде, а также в других аспектах образа жизни, склоняет местных жителей к восприятию похвалы от тех, кем они восхищаются. В то же время сильное желание приобрести товары и услуги, которые доступны только в доминирующей стране (в то время как собственная страна не в состоянии их предоставить), делает аборигенов более уязвимыми для взяточничества.

Не нужно тратить много слов на антиимпериализм и антиколониализм, которые являются подходящими названиями для любого движения, которое стремится изменить ситуацию, описываемую как колониализм или империализм, без искажения их значений. Безусловно, движения за независимость в европейских колониях Африке можно отнести к антиколониализму. Излишне подчеркивать, что оба термина *часто искажаются в пропагандистских целях: если бы они использовались с определенной логической последовательностью, сопротивление советскому влиянию в Восточной Европе, китайскому правлению в Тибете или нигерийскому подавлению Биафры можно было бы назвать антиимпериализмом. Тем не менее, в современном контексте этот термин обычно ассоциируется с движениями и группами, враждебными Соединенным Штатам или странам Западной Европы.*

Концепция империализма почти повсеместно воспринимается как система, при которой имперская нация эксплуатирует своих подданных. Однако нет убедительных доказательств того, что рядовые граждане правящей нации получают какую-либо экономическую выгоду от колоний. Например, римляне действительно извлекали выгоду из продовольствия, которое забиралось из провинций, но даже в классическом примере грабежа (типа испанского завоевания Америки) сомнительно, что большинство испанцев выиграли от этого хотя бы в краткосрочной перспективе, не говоря уже о долгосрочных негативных последствиях для их промышленности и сельского хозяйства. Например, большинство французов не получили ничего (или почти ничего) от империи в Африке, хотя некоторые сектора могли получать значительную прибыль, и вполне вероятно, что они проиграли. Не менее ясно, что итальянская империя была затратной и обрела форму механизма, который перераспределял богатство от широкой массы налогоплательщиков к узкому кругу бизнесменов и чиновников, получающих прибыль.

До создания пароходов торговля с колониями была столь незначительной, что она не могла оказать заметного влияния на уровень жизни, за исключением нескольких прибрежных городов, составлявших небольшую часть населения. Даже в последние годы ближняя торговля имела гораздо большее значение: например, в XVII–XVIII веках голландская торговля с Польшей была во много раз больше, чем с Ост-Индией. Британские прибыли от инвестиций и торговли с независимыми государствами на американском континенте значительно превышали доходы, полученные от африканских или азиатских колоний. Хотя такая ситуация могла наблюдаться и в случае с Бельгией и Голландией, единственным примером колониализма является Британия между двумя мировыми войнами, в которой существовали определенные доказательства того, что обладание империей оказало ощутимое положительное влияние на уровень жизни, когда имперские преференции обеспечивали британской промышленности важные защищенные рынки и существенно влияли на условия торговли. Наоборот, нацистская империя в Восточной Европе была спроектирована таким образом, что она принесла бы ощутимые экономические выгоды большинству немцев, если бы просуществовала дольше.

В общем, можно полагать, что низшие классы в Британии и еще больше во Франции скорее не извлекали никакой выгоды от империи, чем наоборот. Хотя некоторые ее отдельные регионы (Кувейт) могли быть очень прибыльными. Важно непредвзятое рассмотрение вопроса о том, кто именно, в каком объеме и каким образом получал выгоду от империи.

### *Глава 17. Империализм: прошлое и будущее*

Широко признано (и не только марксистами), что процветание высокоразвитых промышленных стран, а также бедность так называемого третьего мира являются результатом эксплуатации последних первыми. Тем не менее, несмотря на многочисленные осуждения, до сих пор не представлено убедительных доказательств того, что такая эксплуатация действительно имела место. Это неудивительно, учитывая крайнюю неопределенность самого понятия «эксплуатация»: как можно доказать существование явления, если не ясно, что оно собой представляет? Мы можем определить «эксплуатацию» как изъятие товаров и услуг без предоставления чего-либо взамен и найти множество несомненных тому примеров. Например, римляне явно эксплуатировали египтян, отнимая у них золото и драгоценности и заставляя ежегодно поставлять значительную часть урожая бесплатно. Аналогично, испанцы использовали жестокие методы, чтобы заставить индейцев в Перу добывать для них золото. Однако, едва начинается обмен товарами и услугами, концепция эксплуатации усложняется, поскольку она предполагает: определенный курс обмена является справедливым, тогда как другие считаются эксплуатацией. Это ставит вопрос: как мы определяем справедливость курса обмена?

Например: что имеют в виду, когда говорят: британцы эксплуатировали Индию? Верно, что в ранние дни Ост-Индской компании часто имел место прямой грабеж, хотя он был иногда скрытым и с использованием тонких предлогов. Но как обстояло дело в более поздние времена, когда администрация стала более организованной, а случаи вымогательства и взяточничества стали редкостью, по сравнению с ситуацией в Индии до или после? Никто не может отрицать, что часть доходов от налогообложения шла на оплату труда британских администраторов, включая тех, кто вышел на пенсию в Великобритании, или что проценты выплачивались британским инвесторам, вложившим свои деньги в индийские железные дороги. В то же время многие британские предприниматели получали значительную прибыль от джутовых фабрик или чайных плантаций. Ярлык «эксплуатация» означает, что они не заслуживали этих платежей. Может и так, но почему бы и нет?

Предположим, что британцы не инвестировали бы в Индию: количество железных дорог, фабрик и плантаций было бы значительно меньше. Возможно, это было бы лучше, и жители могли бы быть счастливее. Конечно, в начале колонизации индийцы не стремились к развитию, хотя их современным потомкам сложно представить жизнь без атрибутов промышленной цивилизации. Важно отметить, что принуждение людей к изменению их образа жизни не равно эксплуатации, хотя эти процессы могут пересекаться. Таким образом, для обоснования утверждения о том, что британцы эксплуатировали Индию, необходимо показать, что они извлекали выгоду, превышающую справедливую цену за свои усилия по реорганизации экономики и финансированию новых предприятий. И вновь возникает вопрос: по каким критериям мы определяем справедливость цены?

Концепция эксплуатации более усложняется, если придается ценность функции поддержания мира. С националистической точки зрения любая форма иностранного правления считается плохой, но эта оценка существенно отличается от понимания зла эксплуатации. Не менее верно, что мир может быть менее желателен, если он сопровождается угнетением и нищетой; однако, если режим способен поддерживать мир более эффективно, снижая при этом уровень угнетения и нищеты по сравнению с его предшественниками или преемниками, его следует рассматривать как вполне благоприятный. По всем этим критериям (по крайней мере, после начальных периодов пиратства) британское правление в Индии было значительным улучшением по сравнению с моголами и накладывало гораздо меньшее бремя на простых людей, чем политические, административные и военные структуры независимой Ин-

дии, Пакистана и Бангладеш. В своем труде *«Африканское затруднительное положение»* я продемонстрировал, что аналогичные утверждения можно обоснованно выдвигать и в отношении тропической Африки.

Хотя этого было бы недостаточно для завершения аргумента из-за неизбежных произвольных предположений, можно попытаться оправдать обвинения в империалистической эксплуатации, показав, что из колоний в метрополию ушло больше богатства, чем наоборот. Это нелегко сделать, поскольку пришлось бы учитывать столь сложные аспекты, как стоимость подготовки и обучения персонала метрополии, который провел (и часто закончил) свою жизнь в колониях. Если же мы решили, что общие последствия колониального правления должны рассматриваться с положительной, а не с отрицательной стороны, нам также пришлось бы включить расходы на защиту колоний, которые несут налогоплательщики метрополии.

С другой стороны, даже если бы расчет показал, что колонии получили больше, чем отдали, можно было бы утверждать, что ключевой чертой колониализма была политика поддержания колониальных экономик в отсталом состоянии, рассматриваемых как источники сырья для обрабатывающей метрополии. Нанесенные таким образом колониям потери были колоссальными, хотя они не поддаются точной оценке. Аргументы «за» или «против» этого утверждения требуют анализа контрфактуальных сценариев: что могло бы произойти, если бы определенные события не имели места. Такие сценарии становятся особенно убедительными, когда подчинение иностранной державе сопровождается явным снижением совокупного богатства, как это наблюдалось в Перу после испанского завоевания или в Иране после монгольского нашествия. В контексте европейского колониализма XIX века трудно найти примеры, когда совокупное богатство завоеванных стран не увеличивалось бы существенно. В случаях, когда средний доход не рос, это часто было связано с быстрым увеличением населения. Чтобы возложить ответственность за отсталость колоний на колониализм, необходимо предположить, что они развивались бы быстрее при отсутствии колониального господства. Это предположение становится более обоснованным, если среди стран, находившихся на аналогичной стадии в начале эпохи промышленного колониализма, бывшие колонии были менее развиты во время деколонизации по сравнению с государствами, которые смогли сохранить независимость или потеряли ее лишь на короткое время. Здесь уместно сравнение Эфиопии с Кенией или Либерии с Ганой. Дополнительные данные можно получить, анализируя темпы экономического прогресса в этих регионах до, во время и после колониального периода, что вряд ли подтверждает однозначные утверждения о связях между колониализмом и отсталостью.

Справедливо отметить, что последнее из упомянутых свидетельств не подтверждает мнение о том, что бывшее колониальное население сегодня жило бы лучше, если бы деколонизация не состоялась. Скорее всего колонизаторы спровоцировали демографический взрыв и ушли вовремя, чтобы избежать необходимости усиливать принуждение в попытке удержать в подчинении все большее число все более нищих и недовольных подданных. Более того, существуют примеры (Кот-д'Ивуар), когда прогресс экономики набирал скорость после обретения независимости. Однако такие примеры не доказывают, что колониальное правление сдерживало развитие на протяжении всего своего существования, поскольку невозможно полагать, что подобный рывок последовал бы за его падением в более ранний период, когда было меньше аборигенов, обладающих навыками современного человека. В некоторых случаях (особенно в Бельгийском Конго, ныне известном как Заир) выдвигались убедительные аргументы в пользу того, что деколонизация была бы более выгодна массам, если бы ее отложить и провести более постепенно.

Можно утверждать, что колонизаторы должны были отказаться от части своих прибылей или вознаграждений, согласиться на более выгодные условия торговли или направить экономическое развитие в русло, более выгодное для местного населения, а не только для экспортеров или импортеров метрополии. Такие мнения вполне обоснованы: если бы колонизаторы действовали из альтруистических соображений, они, безусловно, сделали бы больше для тех, кем они управляли. Но если на таких основаниях применяется термин *эксплуатация* к колониальной ситуации, то он используется как понятие морали, эквивалентное «эгоизму», а не как экономическая категория. С этой точки зрения на протяжении последнего столетия колониальной эпохи можно указать немного случаев, которые можно было бы строго квалифицировать как «эксплуатацию», за исключением ситуаций, когда иностранные компании добывали невозполнимые природные ресурсы, такие как нефть и олово, что приводило к истощению этих ресурсов без значительного увеличения доходов коренных жителей.

В отличие от колониализма, который практиковался в эпоху быстрого промышленного прогресса, резкое обнищание завоеванных земель было обычным следствием доиндустриального империализма. Я опасаясь, что это может стать характерной чертой будущих империализмов. Разрешите объяснить, почему это так.

Торговля могла приносить выгоду всем сторонам до тех пор, пока технологии и богатство не начали стремительно развиваться. Однако политически обусловленные изменения в экономических отношениях между этническими или политическими единицами часто имели характер игры с нулевой суммой, когда выигрыш одного игрока был бы проигрышем другого. Завоевание редко сопровождалось улучшением методов или ростом объемов производства, поскольку завоеватели, как правило, превосходили местное население лишь в военном искусстве и могли быть более отсталыми в мирных ремеслах. Например, ни персидское, ни македонское, ни римское, ни арабское, ни турецкое завоевание Западной Азии не привело к значительным улучшениям в технологиях производства. В ряде случаев, например, при монгольском вторжении в Персию или Китай, организация и объем производства, если не сама технология, претерпели явный регресс после завоевания. Это наблюдение касается даже тех случаев, когда территория, населенная множеством враждующих племен, объединялась под властью сложной политической системы. Например, римское завоевание Галлии привело к почти двукратному сокращению населения этой территории. Что еще более удивительно, испанские завоеватели, знавшие выплавку железа, навигацию, каменную кладку, владевшие такими техническими навыками, как использование лошади и колеса и рядом других, неслыханных для индейцев, не увеличили, а сократили богатство и численность населения более развитых королевств Америки.

В доиндустриальной цивилизации завоевание иногда приводило к перемещению побежденного населения – как путем истребления, так и выселения. Однако обычно результат сводился к смене хозяев, в то время как крестьяне и ремесленники продолжали выполнять свои повседневные обязанности. Кроме изменения бенефициаров, часто происходили изменения в механизмах извлечения богатства из крестьян, а скорость этого процесса увеличивалась, например, после нормандского завоевания Англии. Однако так было не всегда, поскольку в истории встречались случаи, когда фискальное бремя снижалось, например, после арабского завоевания византийских провинций. Единственной экономической выгодой был рост возможностей торговли, которую завоевание могло принести покоренному населению в условиях статичной и довольно однородной технологии. Однако в те времена торговля в основном касалась излишков, потребляемых привилегированными классами, что означало, что большинство населения получало от этого лишь минимальную выгоду.

В отличие от более ранних периодов империализма колониализм и неформальные формы контроля (имеется в виду экономический империализм), которые западноевропейские страны практиковали с 1840 года и до сих пор, осуществлялись людьми с организационными и техническими навыками, значительно превышающими все, что было известно их жертвам. Это огромное техническое превосходство обеспечивало колонизаторам такое военное преимущество, что они могли проводить масштабные завоевания, не будучи при этом сосредоточенными исключительно на военной культуре. До появления сложных технологий, определяющих исход сражений, военное превосходство обычно сочеталось с менее развитой экономикой и цивилизацией, поскольку даже дописьменные племена могли создавать наиболее эффективное оружие для своего времени. До XIX века никогда прежде за армиями завоевателей не следовала такая масса специалистов по продвинутым методам мирного производства.

В доиндустриальную эпоху природные ресурсы использовались ограниченно, и это использование зависело от технологий того времени. Однако после 1840 года как начала научно-обоснованных технологий человечество получило возможность извлекать новые товары из природных ресурсов. Это создало эффект, схожий с внезапным ростом природных богатств. В такой ситуации самым важным фактором производства стала культура, которая выражается в навыках, привычках и традициях, необходимых для организации более эффективного производства. Такие ресурсы культуры сосредоточились главным образом в странах, которые стали основными центрами империализма. Сочетание имперской экспансии с принуждением к техническому и экономическому прогрессу привело к тому, что колониализм после 1840 года преобразовался в феномен, при котором завоеватели и завоеванные могли обогащаться, поскольку совокупное богатство резко возросло.

Проведенный выше анализ не подтверждает наличие альтруистических мотивов у носителей имперской экспансии. Как правило, она была направлена на получение богатства и власти. Хотя некоторые фигуры и участники этого процесса могли действовать под влиянием гуманитарных или религиозных побуждений. Несмотря на это, одностороннее извлечение ресурсов не доминировало в колониальной практике, поскольку в тех условиях наибольшие выгоды можно было извлечь путем организацию экономического роста.

С учетом экологических ограничений, с которыми сегодня сталкивается человечество, политико-экономические отношения между нациями могут снова вернуться к модели нулевой суммы, которая существовала до периода великого промышленного прогресса. В условиях, когда общее количество богатства не может увеличиваться, выигрыши одной стороны неизбежно влекут за собой потери другой. Кроме того, по мере распространения технических и организационных навыков, необходимых для эффективного использования природных ресурсов, завоевание новых территорий уже не гарантирует скачка в экономическом развитии и может привести лишь к перераспределению богатств в пользу завоевателей.

Очень важным аспектом экологического кризиса является то, что, помимо конкуренции за дефицитные ресурсы, экономический рост одной страны наносит ущерб другим странам через загрязнение, что делает соседние страны заинтересованными в его предотвращении. Значит, мы имеем дело с обоюдной игрой с нулевой суммой. Однако в контексте штрафов международные политико-экономические отношения больше напоминают игру с ненулевой суммой, чем когда-либо, поскольку не все могут выиграть, но все могут легко проиграть. В крайнем случае мировой войны все потеряют все. Выгода от (или расплата, если предпочтается терминологию теории игр) сотрудничества – по крайней мере, в смысле воздержания от враждебных действий – будет заключаться в величине предотвращенных потерь. Такое сочетание игры с нулевой суммой на положительной стороне (в отношении безусловных прибылей) и игры с ненулевой суммой на отрицательной стороне (в отношении потерь) мож-

но сравнить с ситуацией выживших после кораблекрушения в легко переворачивающейся спасательной шлюпке, где у каждого есть ограниченное количество неприкосновенных запасов: никто не может увеличить свою долю, не отобрав ее у кого-то другого, но уже при начале драки лодка перевернется, и утонут.

Союзы такого рода могли бы привести к полной неподвижности, если бы все государства обладали равной силой для переворачивания лодки – то есть, говоря менее метафорично, в конечном итоге причиняли бы себе смертельный ущерб, начиная войну. На самом деле лишь столкновение высокоразвитых индустриальных государств могло бы иметь такие последствия; на протяжении некоторого времени такие государства могли бы атаковать более слабые с относительной безнаказанностью. Например, если бы нефтедобывающие арабские страны были захвачены силой, это не привело бы к ядерной войне – такую операцию могли бы осуществить не только Соединенные Штаты или Советский Союз, но даже второстепенные державы (Великобритания или Япония) без особых трудностей. Свобода маневра арабских стран полностью зависит от тупика между сверхдержавами в этом регионе. Вероятнее всего, на аналогичных нейтральных территориях произойдет усиление скрытых и косвенных форм конфликта между великими державами, которые не перерастут в полномасштабную войну.

В регионах, которые явно находятся под контролем одной из сверхдержав (или даже второстепенных держав), вполне вероятно возрождение открытого империализма или его завуалированной формы, известной как неоимпериализм. Если это произойдет, то, скорее всего, он будет более агрессивным, чем его аналоги в недавнем прошлом. Обвинения, которые часто выдвигались в адрес сдерживания развития зависимых территорий и которые были лишь частично (если вообще) оправданы в контексте империализма, могут стать реальностью в будущем. Более того, с учетом экологических факторов можно ожидать, что владения государств, обладающих значительными природными ресурсами (например, Советского Союза) будут иметь более высокий уровень жизни по сравнению с зависимыми территориями менее самодостаточных стран. Учитывая, что многое будет зависеть от изменения международных сил, было бы неразумно строить уверенные прогнозы. Тем не менее, я рискну сделать предварительный вывод: если и произойдет возрождение империализма, то оно будет сопровождаться экономическими процессами, которые гораздо точнее соответствуют определению «эксплуатации», чем тот империализм, который только что канул в Лету.

## *Глава 18. Пацифизм и природа войны*

### *Новизна пацифизма*

Любое рациональное обоснование надежды на постоянный мир должно основываться на нашем понимании причин войн. Не менее очевидно, что никакие действия по содействию миру, то есть предотвращению войн, не могут быть эффективными, если они не основаны на правильном понимании таких причин. По аналогии с невозможностью вылечить человека без точного диагноза.

Адекватное объяснение должно учитывать факторы, соотносящиеся с самим явлением: в данном контексте необходимо признать тот фундаментальный факт, что практика войны является старой и универсальной, тогда как идея постоянного мира – не говоря уже о необходимости его поддержания – является относительно новой в общей истории человечества. Все мыслители Античности и Возрождения, а также представители восточных цивилизаций рассматривали войну как часть вечного порядка вещей, столь же неизменной, как рождение и смерть.

Гуго Гроций, голландский юрист XVII века, стал первым писателем, который предвидел возможность того, что когда-то человечество сможет жить без войны. Лишь во второй половине XVIII века среди философов начала формироваться точка зрения (в старом и широком смысле этого слова), что война – это варварское явление, которое надо устранить. Однако эта идея начала обретать сторонников за пределами узкого круга интеллектуалов только во второй половине XIX века. Пацифизм как массовое движение возник лишь после Первой мировой войны, но оказался достаточно слабым, чтобы его почти полностью подавили в некоторых странах накануне Второй мировой войны. Только после ее окончания пацифизм начал укореняться в сознании общества.

Годы после Второй мировой войны стали новой эрой в истории человечества: впервые никто не восхваляет войну, и все заявляют о своей любви к миру, в то время как даже агрессоры маскируют свои действия под оборону. Военные министерства повсюду были заменены министерствами обороны. Однако это изменение может быть связано не столько с изменением взглядов на войну, сколько с общим увлечением эвфемизмами, которое привело к множеству переименований: «больничные учреждения» стали «лечебницами», «тюрьмы» – «центрами реабилитации или ресоциализации», а «бедные» превратились в «непривилегированных» (самый нелепый эвфемизм, поскольку даже в раю не все могут быть привилегированными). Больше нет стариков, есть только «люди среднего возраста», нет «умственно отсталых», а есть только «люди с умственными особенностями» (хотя они даже не могут догнать «умственно отсталых»), одновременно отсталые страны стали «развивающимися» и т. д. Похоже на то, что – с учетом изменений в других аспектах жизни – в вопросах войны и мира прогресс эвфемизмов отражает реальное изменение отношения к ним. Скорее всего, изречение Оскара Уайльда о том, что «лицемерие – это дань, которую порок платит добродетели», применимо и здесь.

Чтобы обеспечить себе посмертную славу, ассирийские цари делали надписи на своих могилах, в которых упоминали о числе врагов, которых они изуродовали, ослепили, содрали с них кожу или посадили на кол. В отличие от этого обычая в наше время даже такие фигуры, как Гитлер, не выставляли напоказ свои массовые убийства, а Сталин безуспешно старался скрыть свои преступления. Гарри Трумэн также не хвастался тем, что по его приказу за секунду погибло больше людей, чем когда-либо в истории. Примечательно, что в наши дни никто не утверждает, что война – это благо, тогда как до и во время Первой мировой войны в разных странах выходило множество книг и статей, восхваляющих войну как высшее испытание для наций и людей, выявляющее в них лучшее. В период между двумя мировыми войнами фашисты подхватили эти идеи и продолжили восхвалять войну. В настоящее время такие взгляды не выражаются открыто и, по всей видимости, редко поддерживаются. Никто открыто не гордится завоеваниями, которое в прошлом считалось величайшим правом на славу.

Можно ли полагать это изменение постоянным или же это просто разновидность публичности, скрывающего древние воинственные склонности? Возможно ли примирить надежду на избежание войны с осознанием ее повсеместности в прошлом? Возможно, это не исключено, но мы не должны это делать, отрицая сам факт войны, как пытаются делать некоторые оптимисты.

### *Растущая неприятность войны*

Военная иерархия обычно организована так, что власть и уязвимость к опасностям и лишениям обратно пропорциональны: командиры могут толкать солдат на битву, сами оставаясь в безопасности. Этот градиент меняется в зависимости от времени и места. В пле-

менных и феодальных войнах лидеры буквально лидировали на передовой, в то время как Первая мировая война, по всей видимости, была самой безопасной для генералов. Во Второй мировой войне ситуация стала немного более опасной из-за угрозы воздушных бомбардировок.

Показательной чертой человеческой природы является то, что подлинных героев зачастую чтят меньше, чем тех начальников лидеров, которые подвергали себя самым незначительным рискам или лишениям, отправляя одновременно множество людей на смерть. Наполеон дважды убежал из своей армии – в Египте и в России – и дважды предпочел сдаться в плен, чем самому сражаться. Несмотря на поражение, которое привело к бессмысленной смерти более миллиона французов, его продолжают обожать во Франции, а его культ сохраняется по сей день. Бисмарк обожали как «железного канцлера», хотя он никогда не приближался к месту, где могло летать железо. Чтобы чувствовать себя в безопасности в республике, возникшей после Первой мировой войны, немцы избрали своим президентом генерала фон Гинденбурга – одного из вождей, кто привел страну к поражению. Хотя его основной вклад в победу заключался в подписании смертных приговоров дезертирам и мятежникам, Петен стал известен как «герой Вердена», и был избран править Францией в часы ее поражения. Подобные примеры встречаются повсюду. Хотя в более примитивных формах ведения войны ситуация могла быть иной, более подходящим термином для квалификации «военных вождей» недавнего времени было бы слово «толкачи», поскольку они действовали, толкая сзади других, а не ведя их впереди.

Вероятно, материальные выгоды от войны были наиболее значительными для кочевников, которые могли покорить гораздо большее оседлое население и стать его правителями. Когда римский солдат приводил домой отряд рабов, он мог заставить их работать на своей ферме, что позволяло ему вести относительно праздную жизнь. Феодальная война имела множество привлекательных аспектов: сражения, как правило, не длились дольше одного дня, а кампании обычно были краткосрочными, редко превышающими три месяца. В обмен на кратковременные опасности воины освобождались от постоянного тяжелого труда. Экономические выгоды были значительными, поскольку победители зачастую получали землю с крепостными для ее обработки, помимо движимой добычи. Самыми активными добровольцами войны становились младшие сыновья знати, для которых это был единственный способ получить собственные поместья. Опасность для рыцаря в железных доспехах была меньше, чем в большинстве других форм войны, поскольку его можно было сбить с лошади и обездвигить без серьезных травм, в то время как пленников обычно отпускали за выкуп. «Только швейцарцы регулярно перерезали горло спешенным рыцарям, и по этой причине их очень боялись»<sup>2</sup>.

Даже когда наемники заменили рыцарей, профессия воина оставалась довольно привлекательной для тех, кто при других обстоятельствах вынужден был бы вести жизнь, полную изнурительного труда и нищеты. Сражения по-прежнему были делом одного дня, и, хотя кампании теперь могли длиться несколько лет, солдаты большую часть времени проводили в лагерях или на зимних квартирах, развлекаясь азартными играми, алкоголем и распутством. Армии все еще были небольшими, и оплата была неплохой по сравнению с унылой гражданской работой. Добыча зачастую оказывалась значительной, особенно в Италии, где некоторые *кондотьеры* смогли накопить значительные состояния.

Для рядового солдата все эти преимущества исчезли с улучшением организации, что позволило армиям разрастаться, но привело к снижению жалования. Это произошло впервые во Франции. Еще более резкое ухудшение положения рядовых солдат наблюдалось, когда

<sup>2</sup> Таким образом Карл Каутский освещает возможные последствия дальнейших событий в своей великолепной, но малоизвестной работе «*Война и демократия*» (Берлин, 1932).

соблазн жалованья был заменен вербовкой и выборочной долгосрочной воинской повинностью. В современной Европе этот метод впервые был применен в Пруссии, в которой безденежные монархи создали армию, значительно превышающую их ресурсы. По этому примеру Петр Великий сформировал самую большую армию в Европе. Еще более крупные войска были выведены на поле боя под командованием Сади Карно, организатора армий Французской республики, который ввел всеобщий призыв. Благодаря революционному энтузиазму ему требовалось меньше принуждения, чем монархам. Наполеон унаследовал эту систему, и его победы были обусловлены как численным превосходством его войск, так и его мастерством как полководца.

Удешевление оружия и появление муштры сделали возможно такую эволюцию. Винтовка оказалась значительно дешевле, чем доспехи рыцаря, как по своей эффективности, так и по количеству используемой стали и трудозатратам на ее изготовление. Это сделало возможным формирование более крупных армий. Однако их эффективность напрямую зависела от упорядоченности действий на поле боя, что требовало группового обучения, или, иначе говоря, муштры.

После падения Римской империи строевая подготовка вышла из употребления, но была вновь введена голландцами для своих наемников во время войны за независимость от Испании. Она была усовершенствована прусскими монархами, которые использовали ее как метод превращения призывников и бродяг в хороших солдат. Петр Великий применил эти методы на более широком уровне, распространив их на русских крепостных. Из-за страха наказания, заменившего соблазн денежного вознаграждения и добычи, военная служба в низших чинах стала крайне непривлекательной, и дворянство избегало ее, за исключением высших чинов. Не имея ничего, что можно было бы предложить, солдаты больше не сопровождалась толпами обслуги, как это было во время Тридцатилетней войны и ранее. Находясь под пристальным надзором (чтобы предотвратить дезертирство), они имели меньше возможностей для грабежей и изнасилований. Наполеоновские солдаты имели больше возможностей для такого поведения, так как Наполеон отказался от подобной практики и заставил свои войска жить за счет местного населения, что позволяло им двигаться быстрее, чем их враги, обремененные припасами. Этот подход вызывал недовольство среди завоеванных народов и способствовал росту немецкого национализма. Тем не менее, численность солдат Наполеона была слишком велика, чтобы они могли так же успешно наживаться на добыче или жить за счет страны, как это делали наемники Валленштейна во время религиозных войн.

Условия для простых солдат достигли своего апогея во время Первой мировой войны, которая стала первой войной с постоянным фронтом, где сражения никогда не прекращались. Зарплата была мизерной, а награда за победу была нулевой или скорее отрицательной, поскольку бывшим солдатам часто было трудно найти работу. Объективно говоря, последствия поражения не имели большого значения для рядовых людей, так как в рамках либеральной экономической системы даже аннексия не оказывала существенного влияния, в то время как колониальные империи приносили выгоду лишь высшим классам. Война была спровоцирована мелкими дразгами из-за престижа. Экономические интересы масс были почти так же мало затронуты, как и в недавней войне на Фолклендах. Чтобы компенсировать недостаток материальных стимулов, правительства готовили пушечное мясо путем систематической идеологической обработки национализмом, а затем спонсировали шквал коварной пропаганды, лживо очерняющей вражеские страны. Благодаря доверчивости масс это оказалось весьма эффективным.

Экономические выгоды от победы для победившей нации в целом стали к тому времени еще более сомнительными, чем ранее. Войны между аграрными обществами могли принести пользу лишь значительной части победившего населения, если они приводили к захва-

ту территории, позволяющей расселить избыточное население и тем самым снизить давление на ресурсы, улучшив уровень жизни. Однако это было возможно только в случае изгнания или истребления коренного населения. В современную эпоху такие случаи наблюдались лишь в Северной Америке, Австралии и Тасмании. В феодальных войнах, как мы видели, дворяне могли значительно выиграть, тогда как простые люди чаще всего страдали от разрушений, хотя им не приходилось принимать участие в сражениях, за исключением небольшого числа наемников. В эпоху династического абсолютизма войны велись по указанию монархов (с учетом интересов знати), а также наемниками и позже призывниками, которые в основном набирались из беднейших слоев населения. Вопрос об интересах простых людей в этих войнах даже не поднимался. Лицемерия не было: правители никогда не считали необходимым действовать в интересах своих подданных.

Существует миф о том, что бизнесмены обычно были главными поджигателями войн или империалистами, и что войны служили интересам их класса. Хотя действительно ограниченные деловые круги извлекали выгоду и провоцировали отдельные мелкие войны (типа Опиумных войн или Англо-бурской войны), а также использовали военные действия для давления на Кубу или Венесуэлу с целью возврата долгов. Большие и дорогостоящие войны редко приносят пользу бизнесу, и нет никаких доказательств того, что любая такая война была спровоцирована коммерческими или промышленными интересами. В начале Первой мировой войны банки Лондонского Сити попросили губернатора Банка Англии передать Ллойд Джорджу, тогдашнему канцлеру казначейства, их единодушное несогласие с вступлением Великобритании в войну. В условиях либерализма бизнес мог успешно функционировать без необходимости в расширении политического влияния для получения прибыли. Единственным классом, который неизменно выигрывал от территориальной экспансии, даже такой незначительной, как передача Эльзаса и Лотарингии, была бюрократия, поскольку именно этот класс подвергался замене в результате завоеваний, даже в либеральных государствах.

Не исключено, что Первая мировая война была самой нерациональной из всех конфликтов в истории, так как она потребовала огромных ресурсов и не принесла пользы ни одной из сторон, даже победителям, которые в конечном итоге оказались в более сложном положении. Это было неизбежно, поскольку сложность и взаимозависимость национальных экономик значительно увеличили затраты на дезорганизацию, которые, вероятно, превышали физические разрушения, а либеральные институты не позволили победителям выжать значительные богатства из побежденных без дальнейшего дезорганизации их собственных экономик. С учетом этой нерациональности неудивительно, что, едва волна националистического опьянения утихла, как победившие, так и побежденные страны захлестнул сильный поток пацифизма. Но удивительно то, что 15 лет спустя Гитлер смог разжечь столько энтузиазма в отношении собственной программы завоеваний. Тем не менее, несмотря на все усилия его пропаганды, начало Второй мировой войны не вызвало такой волны воинственной эйфории, как это происходило при объявлении войны в Германии, Франции и Великобритании в предыдущем случае.

Нацисты, добившись некоторого первоначального успеха, стремились сделать так, чтобы вся нация могла извлечь выгоду из своей победы, отказываясь при этом от краеугольных камней современной европейской цивилизации: уважения к правам собственности и проживания, свободы передвижения и труда. Они изгнали целые народы из своих домов, конфисковали имущество и возродили крепостное право и рабство. В Польше они предприняли попытку истребить весь образованный класс. Если истребление евреев было следствием одержимости Гитлера и его приближенных и не имело никакой дальнейшей цели, то обращение со славянами стало частью плана по созданию в Восточной Европе империи, в которой не-

мецкая аристократия использовала бы славянских крепостных и рабов. Таким образом, каждый немец мог бы стать аристократом, подобно тому, как каждый белый человек в Южной Африке.

Хотя многие люди получают удовольствие от командования другими людьми, прогресс технологий – особенно с появлением автоматизации – сделал рабство невыгодным. К сожалению, технологии также породили новый источник конфликта, который в будущем может стать чрезвычайно важным: а именно, загрязнение. Когда его уровень становится невыносимым, люди могут быть готовы пойти на войну, чтобы помешать другим загрязнять окружающую среду. Как всем известно, всеобщая война может привести к вымиранию человечества или даже всей жизни на планете.

### *Перспективы*

До появления технического прогресса и стабилизации уровня рождаемости население всегда имело людей, которые могли выживать только за счет других. Поэтому неудивительно, что идея прекращения войн начала активно обсуждаться лишь тогда, когда прогресс в технике и экономике стал очевиден, и вера в его продолжение укрепилась. Также не случайно, что нежелание убивать характерно только для обществ, в которых давление на ресурсы не является критическим, что стало возможным благодаря сочетанию достатка и контроля над рождаемостью. Хотя отсутствие бедности не гарантирует гуманных и миролюбивых взглядов, оно, безусловно, является необходимым условием. Технологический прогресс также устранил еще одну важную причину войн: при низкой производительности жизни люди не могли достичь комфорта без эксплуатации других. С появлением машин люди получили возможность жить хорошо, не заставляя других существовать на грани выживания. Однако нехватка пространства, истощение ресурсов и накопление загрязнения могут поставить под угрозу достигнутый уровень жизни в благополучных странах и оставить менее удачливых в их бедственном положении. Поэтому перспектива мира может оказаться весьма неопределенной, если не будут найдены способы остановить четыре процесса, угрожающих обострить борьбу за ресурсы: демографический рост, эрозия почвы, загрязнение и истощение природных ресурсов.

Перспектива всеобщего самоубийства служит мощным сдерживающим фактором, особенно в условиях, когда правители больше не могут надежно скрыться за защитными барьерами. Однако серьезный экологический кризис может породить еще большие волны фанатизма и иррациональности, что сделает баланс взаимного сдерживания более уязвимым. При этом сохраняется постоянная угроза холокоста, вызванного технической ошибкой.

### *Глава 19. Экологическая ситуация и опасность диктатуры<sup>3</sup>*

Возможно, в прошлом, когда книг было немного, ситуация была иной, но в наше время, похоже, наблюдается обратная зависимость между ценностью и объемом книги. Книги Хайлбронера подтверждают это правило. Он излагает свои тезисы четко и лаконично, а когда обобщает идеи других авторов, делает это сжато и лишь в той мере, которая необходима для поддержки своей точки зрения. Ни одно слово не расходуется впустую, и его книги похвально свободны от напыщенного жаргона, который разрушает социальные науки. Вторая книга немного более академична в хорошем смысле: она не перегружена, но требует чуть больше знаний. Первая книга вполне заслужила свою популярность, так как предлагает про-

<sup>3</sup> Обзор трудов Роберта Л. Хейлбронера «Исследование человеческого прогресса» (Нью-Йорк: У.У. Нортон, 1975) и «Деловая цивилизация в упадке» (Нью-Йорк: У.У. Нортон, 1976).

стой, но в то же время глубокий и проницательный анализ социальных и экономических последствий выводов и прогнозов экологов.

Как интуитивно заключил Гаэтано Моска много десятилетий назад, и как я позднее утверждал на основе эпистемологических соображений, связанных с проблемой свободы воли, предсказать то, чего не будет, зачастую проще, чем определить то, что произойдет. Иными словами, легче найти убедительные причины для исключения определенных сценариев развития событий как невозможных, чем предсказать, какой из возможных исходов станет реальностью. Например, мы можем с уверенностью сказать, что население мира не будет расти так быстро в течение следующего столетия, как это происходило в последние 50 лет, но не знаем, что именно вызовет замедление – будь то контроль рождаемости, войны, внутренние распри, голод, болезни или бесплодие, вызванное загрязнением окружающей среды. По аналогии совершенно очевидно, что человечество должно прекратить нерациональное использование природных ресурсов и перестроить экономику на принципах бережливости, если использовать выражение Хайлбронера; однако остается неясным, какой именно экономический порядок или порядки появятся в результате этих изменений. Его утверждение о том, что деловая цивилизация, основанная на постоянном расширении производства материальных благ, подходит к концу, представляется мне неоспоримым, хотя я бы добавил, что даже контролируемые государством экономические системы, по крайней мере до сих пор, в равной степени следовали тому же пути.

Поскольку он затрагивает множество ключевых вопросов, многие из утверждений Хайлбронера подлежат обсуждению. Я, в частности, не согласен с его мнением о том, что «этос науки», тесно связанный с промышленным применением, будет играть меньшую роль. Хотя наука действительно может переживать упадок, это произойдет только в условиях общего краха цивилизации, который может привести к вымиранию человечества или возврату к примитивному существованию. Для экономики, способной сохранять окружающую среду и обеспечивать свою жизнеспособность, потребуется более продвинутая наука по сравнению с той, которая у нас есть. Нам необходимо разработать заменители металлов и других ресурсов, включая ископаемое топливо, а также найти методы для устранения накопленного загрязнения, если мы стремимся избежать всеобщей нищеты, каннибализма или даже полного вымирания.

Позвольте мне проиллюстрировать эту потребность в более глубоком научном анализе на примере вопроса, который, похоже, остался вне поля зрения экологов, хотя связанные с ним принципы известны с времен Дарвина. Здоровье всех естественных видов поддерживается постоянным сокращением значительной части популяции через межиндивидуальную, межгрупповую и межвидовую конкуренцию; при этом плодовитость остается достаточно высокой, чтобы создавать излишек, который можно использовать. В то время как борьба за существование исчезает, изобилие, развитая медицина, благосостояние и мир приводят к неизбежной физической и умственной деградации человечества. Кажется, что единственный способ, которым популяция, сбалансированная на гуманной и цивилизованной основе с низкой плодовитостью и низкой смертностью, а не на естественной основе с высокой плодовитостью и высокой смертностью, может избежать вырождения, – это своего рода предзачаточное устранение, при котором яйцеклетки и сперматозоиды с вредными мутациями или другими нежелательными вариациями могут быть выявлены и устранены. Вероятно, в сильно загрязненной среде подобные меры были бы необходимы, даже если бы применялся более простой метод борьбы с вырождением – селективное евгеническое разведение. Возможно, цивилизация в устойчивом состоянии потребовала бы такого уровня изобретательности, который позволил бы ей выжить только при условии, что распределение объема мозга будет

повышено до более высокого среднего уровня с помощью какого-то метода генетической манипуляции.

На мой взгляд, автор ошибается, утверждая, что «постиндустриальное общество» будет свидетельствовать об упадке трудовой этики, присущей индустриальному обществу. Этот термин возник в тот момент времени, когда описываемая им тенденция начала меняться на противоположную: в конце краткого периода относительного изобилия, когда многим казалось, что трудности с производством товаров остались в прошлом, и что для работы потребуется все меньшее число людей. Я никогда не разделял этот оптимизм и за свои взгляды сталкивался с обвинениями в ретроградстве. Более того, изобилие, о котором идет речь, наблюдалось лишь в Северной Америке и северо-западной Европе, а его основа – использование непропорционального количества дефицитных и невозполнимых природных ресурсов. Хайлбронер справедливо и неоднократно подчеркивает, что нынешняя индустриальная экономика функционирует на принципе саморазрушения и не сможет долго существовать в ее настоящем виде. Я бы добавил к этим аргументам, что современные капиталоемкие и трудосберегающие технологии также потребуют изменений – либо возврата к более трудоемким методам, либо создания новых машин, которые будут менее энерго- и металлоемкими и потребуют значительных усилий для разработки. Поэтому я считаю, что перевод рабочей силы в состав третьих (отчасти паразитических) профессий следует пересмотреть. Скорее всего, устойчивая экономика будет требовать больше труда и, соответственно, нуждается в «трудовой этике». Одна лишь задача по предотвращению серьезного загрязнения среды потребует колоссального количества усилий. Мне кажется, что разговоры о «постиндустриальном обществе» исходят из нереалистичного оптимизма, вызванного нефтяным бумом, которым наслаждались ведущие промышленные страны и, в какой-то мере, остальной мир в течение исторически короткого времени.

Во второй книге автор принимает экологические аргументы как должное и развивает свой тезис о неминуемой гибели деловой цивилизации, которую он связывает в основном с тремя факторами: расширением монополий, исчезновением прибылей и усиливающейся борьбой за раздел уменьшающегося богатства. Я согласен с ним (и в другом месте добавил несколько аргументов в пользу этой точки зрения, ныне широко распространенной), что тенденция все большего укрупнения монополий ведет к слиянию бизнеса и правительства и окончанию независимости бизнесменов. Маркс был прав, увидев в процессе концентрации силу, способную привести к концу капитализма, подразумевая под этим термином лишь мир частного бизнеса, не контролируемого правительством. Однако он ошибался, полагая, что этот процесс приведет к классовой поляризации, растущему бедствию рабочих и пресловутой революции. Подобно множеству других его ошибочным прогнозам, эта ошибка вытекала из неспособности осознать феномен бюрократии. Его взгляды на последствия Закона концентрации были скорректированы Максом Вебером, который на рубеже веков (в работе по экономической истории Древнего мира) предсказал, что бюрократия станет хозяином капитализма, как и в античности, ... поскольку капитализм теперь является драйвером бюрократизации. Важно отметить, что Вебер ожидал подчинения капитализма бюрократии, а не его полного исчезновения.

Я сомневаюсь, что уменьшение совокупного богатства и сопутствующая борьба за акции обязательно приведут к концу капитализма, если мы подразумеваем под этим частную собственность на средства производства, а не независимость бизнеса от правительства. Эта система продолжает функционировать даже в ряде очень бедных стран с застойной и даже деградирующей экономикой. Существуют многочисленные доказательства того, что демократия и либерализм более уязвимы на экономические кризисы и гражданские конфликты, чем капитализм, который, по сути, не сталкивается с угрозами в таких странах, как Южная

Африка, Бразилия или Чили, за исключением риска внешнего вмешательства в случае Южной Африки.

Любое приближение к демократии, особенно к демократическому и либеральному государству всеобщего благосостояния, является редким исключением в истории человечества. Не существует ни одного примера, когда крупное государство смогло бы сохранить демократию в условиях затяжного и широко распространенного кризиса, не говоря уже об усугубляющейся нищете. Индия не является контрпримером, так как демократия там никогда не была более чем фасадом для глубоко олигархической системы, в которой массы бедняков удерживаются на своем месте (и их голосование контролируется) с помощью незаконного экономического и физического принуждения, подкрепленного суевериями. Верно, что более реальная демократия пережила экономический кризис 1930-х годов в Северной Америке и в северо-западной Европе к западу от Германии. Ярким примером является Канада, в которой совокупный доход наиболее упал, снизившись в прериях до 47 % от предкризисного уровня. Однако не стоит забывать, что демократия была на грани краха во Франции, тогда как в преимущественно протестантских странах традиционная мораль, религия и старые обычаи сдерживали проявления недовольства. Эти традиционные ограничения были стерты в богатых обществах, где моральное лидерство перешло к артистам и рекламодателям.

Коммунистические государства обладают механизмами подавления большого объема разочарования и недовольства. Однако эта способность существенно отличается от высшей экологической мудрости, которую Хайлбронер считает неотъемлемой частью коллективистского планирования. Можно утверждать, что такая мудрость более совместима с авторитаризмом, чем с демагогией. Также надо отметить, что китайцы относительно немного нарушали нормы экологии, но их добродетель остается недоказанной, поскольку у них до сих пор отсутствовали ресурсы для значительных расходов и загрязнения среды.

Более того, из-за ошибочного предположения, что экологически ограниченной и устойчивой экономике потребуется меньше, а не больше науки, автор не учитывает возможные последствия различий в инновационном потенциале. В этом контексте децентрализованные и в целом более свободные рыночные экономики, которые все еще сохраняют значительную конкуренцию и обеспечивают большую свободу для исследований и выражения мнений, показывали и продолжают демонстрировать значительно лучшие результаты по сравнению с жестко контролируруемыми коллективистскими системами. Тоталитарные режимы успешно мобилизовали и сосредоточили свои усилия, сдерживая потребительские аппетиты и обеспечивая быструю индустриализацию; однако важно помнить, что их достижения основывались на подражании. Что касается промышленных технологий, их способность к инновациям остается ограниченной, за исключением сектора вооружений, в котором они имеют значительное преимущество в знании западных разработок, по причине большей уязвимости либеральных государств на шпионаж. К тому же в этой сфере западные исследования также часто централизованы, бюрократизированы и подвержены секретности и различным ограничениям, что затрудняет использование преимуществ нерегулируемой изобретательности.

Многое будет зависеть от скорости перехода к малозатратной экономике. Если промышленные страны продолжат игнорировать эту необходимость и будут поступать безрассудно до момента катастрофы, жестокие международные и внутренние ссоры из-за истощающихся ресурсов обязательно приведут к замене тонко настроенных политических систем на авторитарные режимы, не менее примитивные по сравнению с теми, которые характерны для так называемого третьего мира. Однако, если переход от расточительности к экономности будет происходить постепенно, то преимущество может перейти к тем системам, которые дают больше возможностей для изобретательности и инициативы. И тем более не исключено, что сложившаяся тенденция монополизации и концентрации может быть изменена, и что независимое предпринимательство,

которое в настоящее время сдерживается бюрократизированными частными монополиями и ростом бюрократического аппарата, станет более важным для сохранения цивилизованного образа жизни, чем когда-либо в прошлом.

### *Глава 20. Почему меры предотвращения экологических угроз недостаточны*

Существует поразительный контраст между предусмотрительностью и осторожностью, которые большинство людей проявляют в своих личных делах, и крайним отсутствием предусмотрительности, характерным для человечества в целом. При выборе работы многие учитывают право на пенсию, даже если до выхода на пенсию еще далеко. Люди обычно выносят утомительное обучение и откладывают деньги ради будущей выгоды, оформляют страховку от маловероятных рисков, а некоторые даже пытаются снизить налог на наследство для своих наследников. Однако, когда речь идет о глобальных угрозах, от которых невозможно спастись, кроме скоропостижной смерти, человечество ведет себя как человек, который собирает дрова, отпиливая сук, на котором сидит. В чем причины такого несоответствия?

Первая и наиболее очевидная, хотя не обязательно самая важная, – новизна ситуации. Никто не смог предвидеть возможность разрушения окружающей среды. Даже Томас Мальтус, который указал на экологический предел роста населения, рассматривал лишь дефицит ресурсов: он не предполагал, что природные ресурсы могут сокращаться под давлением населения, как это произошло в случае эрозии почвы. Все известные мыслители прошлого – от Огюста Конта, Карла Маркса и Герберта Спенсера до Макса Вебера, Бертрана Рассела и Джона Мейнарда Кейнса – не осознавали угрозу загрязнения. Хотя один из основателей физической химии, Сванте Аррениус, предсказал примерно в 1900 году, что индустриализация приведет к парниковому эффекту, на его предсказание не обращали внимания до недавнего времени. И хотя знание о грядущем экологическом кризисе существует уже более 30 лет, сделано очень мало для его предотвращения. Так что причина не сводится к обычной новизне.

Желание пренебречь указанным знанием коренится в его угнетающей сути. Человечество, долго страдавшее от нищеты и болезней, было очаровано идеей освобождения от этих бедствий благодаря техническому прогрессу и росту богатства, как это случилось в более благополучных странах. Для жителей этих стран было приятно и вдохновляюще предполагать, что менее удачливые государства могут присоединиться к ним, просто следуя их примеру. Мысль о том, что экологические ограничения могут этому помешать, вызывает неприятные чувства у тех, кто страдает. Это также тревожит более удачливых, поскольку подразумевает вероятность отказа от некоторых удовольствий.

*Два образа эскапистского мышления.* Негативные перспективы приводят к двум формам эскапистского мышления. Первая заключается в отрицании или игнорировании обособленности новых знаний, тогда как вторая включает использование средств, которые могут показаться безболезненными, но на самом деле обречены на бесполезность.

Первый путь выбирают немногие ученые, отрицающие серьезность ситуации. Многие из них связаны с промышленностью или правительствами, что делает их соучастниками сложившейся ситуации. Ложность их утверждений заметна даже тем, у кого нет глубоких научных знаний: они основаны на неточном восприятии доказательств, полагая их слабыми аргументами против наличия опасности. Эти ученые не приводят никаких доказательств того, что рассматриваемые процессы невозможны или не способны вызвать последствия, о которых предупреждают другие специалисты. Их заверения всегда исходят из аргументов о том, что доказательства существования опасности неубедительны. Они либо не понимают, либо

делают вид, что не понимают различия между «не доказано, что это так» и «доказано, что это не так». Это грубая логическая ошибка, и люди редко допускают ее в повседневной жизни. Например, отсутствие обвинительного приговора по делу о мошенничестве не является доказательством надежности человека. Подозрение в неисправности тормозов достаточно, чтобы отправить автомобиль в ремонтную мастерскую, а не в запланированную поездку. Не требуется абсолютное доказательство, чтобы заподозрить, что ваш дом может рухнуть; даже малейшие сомнения могут удержать вас от переезда. В индивидуальных вопросах людям советуют: «Если сомневаешься, воздержись или проверь», но в более масштабных, важных вопросах предлагается противоположный подход: «Если сомневаешься, не беспокойся и продолжай». Чтобы понять эту логическую ошибку, не нужны специальные знания; не следует доверять экспертам, допускающим столь грубые заблуждения.

Существует также простой тест, доступный неспециалистам, который помогает определить, каким экспертам нельзя доверять, поскольку они игнорируют собственное знание и интеллект ради сохранения своих предрассудков. Нельзя принимать всерьез тех, кто отрицает наличие пределов роста в рамках конечного пространства нашей планеты. Это не вопрос эзотерического научного знания, а элементарная логика: Земля, будучи сферой с фиксированным диаметром, не может вместить неограниченный рост числа любых физических объектов. Это справедливо даже для линейного роста. Разумеется, сложный рост достигнет предела значительно быстрее. Это знание было применено к вопросу о населении Томасом Мальтусом, чью теорию можно переформулировать очень просто, не оставляя места для сомнений. Основная идея заключается в том, что в долгосрочной перспективе уровень рождаемости и уровень смертности должны колебаться вокруг равновесия, поскольку значительное превышение рождаемости над смертностью приводит к самоподдерживающемуся сложному росту, который в конечном пространстве может продолжаться лишь короткое время и только в исключительных обстоятельствах. Следствием этого является то, что рост населения может быть замедлен или прекращен только двумя способами: либо повышением уровня смертности, либо снижением уровня рождаемости. Практический вывод из этих соображений заключается в том, что невозможно поддерживать низкий уровень смертности во всем мире, не снижая уровень рождаемости до соответствующего низкого уровня. Отказ от этих выводов подразумевает либо отрицание того, что Земля является сферой с постоянным диаметром, либо сомнение в обоснованности арифметики.

Хотя произведенные предметы не размножаются без посторонней помощи, те же причины применимы и к росту их количества: в ограниченном пространстве сложный рост даже на небольшой процент не может продолжаться бесконечно. Отсюда неизбежно следует, что абсурдно предполагать существование устойчивого социального порядка, основанного на постоянном экономическом росте. В вопросах, касающихся истощения озонового слоя, кислотных дождей или безопасности ядерных установок, неспециалисты вынуждены полагаться на мнения экспертов. Однако для понимания того, что недавние темпы роста – будь то населения или количества товаров – не могут поддерживаться долгое время, не требуются специальные знания в области науки, достаточно уметь рассчитывать сложные проценты. Печальным свидетельством нерациональности человечества является то, что в эпоху, когда цивилизация оснащена компьютерами и спутниками, простая истина, которую можно легко доказать на листе бумаги, широко игнорируется или даже отрицается.

В отличие от самодовольных представителей промышленности и правительств, группы, которые позиционируют себя как сторонники охраны окружающей среды и называют себя зелеными, осознают существующие угрозы – иногда даже преувеличивают их – но в целом демонстрируют нереалистичные взгляды на необходимые действия. Некоторые из них придерживаются мистических воззрений, включая персонификацию природы, что следует

отличать от рационального понимания ее красоты и ценности. Один из этих принципов – «природа лучше знает», является лишь донаучным антропоморфизмом. В данном случае «природа» рассматривается как совокупность растений и животных, – при исключении человечества с его культурными достижениями. Эта совокупность полна чудес равновесия и адаптации, однако нет никаких доказательств наличия у нее коллективного разума, способного к познанию. Упомянутый принцип также трактуется как заповедь «позволить природе идти своим чередом» и воздерживаться от вмешательства. Однако лишь полное исчезновение человечества могло бы реализовать этот принцип, поскольку мы не можем существовать, не воздействуя на природу. Действительно, каждый вид в той или иной мере вмешивается в экологию: зебры питаются травой, а львы охотятся на зебр. Безусловно, наше вмешательство не должно напоминать поведение пьяного вандала (как это наблюдается в последнее время), но вмешательство необходимо. Чтобы продемонстрировать свою искренность, сторонники этого принципа должны отказаться от приготовления пищи и жить в домах, не говоря уже о том, чтобы пользоваться такими «неестественными» достижениями культуры, как электричество или стоматология.

*Заблуждение морализации природы.* В дополнение к олицетворению природы, сторонники зеленого движения также стремятся морализировать ее. Они утверждают, что конкуренция и насилие противоречат естественному порядку, который должны составлять сотрудничество и взаимная доброта, если не любовь. Однако это утверждение совершенно неверно, так как в природе присутствуют борьба и насилие. Часть этой иллюзии заключается в представлении о том, что вегетарианство является «естественным», несмотря на несомненный факт, что в течение 98 % своего существования наш вид существовал в основном за счет охоты. Вегетарианский выбор может быть обусловлен моральными или эстетическими соображениями, но эти причины коренятся в культуре, а не в самой природе.

Не менее абсурдно и представление о том, что все органическое приносит пользу, а все неорганическое – вред. Многие яды имеют органическое происхождение, как и бактерии и вирусы. Хотя такая позиция является естественной реакцией на бездумное и безответственное использование химических веществ в производстве продуктов питания, она слишком упрощает реальность.

Другое понятие, которое дискредитирует благое дело, – это неопримитивизм: идея о том, что выход из экологического кризиса заключается в возвращении к жизни в небольших, самодостаточных общинах, которые живут за счет органического сельского хозяйства и ремесел. К сожалению, такая экономика не в состоянии прокормить более одной двадцатой нынешнего населения мира. Удивительно, но даже самые разумные представители зеленого движения разделяют с приверженцами самоуспокоенности пренебрежение к решающему фактору перенаселения. Неопримитивисты также не учитывают, что маленькие общины прошлого участвовали в бесконечных войнах. Кроме того, нет оснований считать, что примитивные народы обладали большей мудростью или «экологической компетентностью», как утверждают зеленые. На самом деле они нанесли немалый ущерб, вызвав эрозию почвы из-за чрезмерного выпаса скота или выжигания. У них просто не было таких ресурсов, чтобы нанести столько вреда, сколько способны мы это сделать. Мы обладаем несоизмеримо большей силой, но не обладаем при этом большей мудростью.

С неопримитивизмом связана враждебность к науке. Более смягченный вариант этой позиции можно встретить на страницах британского журнала *The Ecologist*, где утверждается, что традиционная механистическая наука должна быть заменена новой холистической парадигмой, вдохновленной общей теорией систем Людвига фон Бергаланфи. Однако стоит отметить, что эта теория не добавляет ничего нового к идеям Герберта Спенсера, высказанным

более века назад. Кульминацией этой «новой науки» является гипотеза Геи, которая в своей интерпретации пытается интегрировать элементы Божественного Провидения в науку.

Такие мистические подходы не вносят ясности в решение экологических проблем. Именно строгая научная методология позволила выявить такие явления, как парниковый эффект, истощение озонового слоя и различные виды загрязнения окружающей среды. Учитывая, что неопрimitивизм представляет собой тупиковый путь, нам необходимо больше и качественнее научных данных, чтобы предотвратить дальнейший ущерб и решить масштабную задачу по устранению уже нанесенного ущерба.

Последний аспект, который стоит упомянуть, – это соединение свободы, равенства и экологии, которое активно пропагандируется на плакатах и значках экологистов. Наиболее абсурдное выражение этой идеи – попытка сочетать экологию с анархизмом. На практике же многие меры по защите окружающей среды сводятся к запретам и наложению ответственности, что, по сути, ограничивает свободу. Это неизбежно: защита ограниченных ресурсов и предотвращение ущерба требуют повышения дисциплины, а не *непредусмотрительного* всеобщего разгула. В частности, это подразумевает необходимость в более эффективном дисциплинировании эгоистичных и антиобщественных индивидов и групп.

Утопические безумства зеленых не оправдывают самоуспокоенности по поводу экологической ситуации, которая в одном отношении даже серьезнее, чем опасность коллективного самоубийства посредством ядерной войны, которая, в конце концов, может никогда и не произойти. Человечество не может бесконечно отравлять и разрушать свою окружающую среду, не рискуя ее полным вымиранием. В условиях этой угрозы все другие проблемы теряют свою значимость. Не будет иметь значения, какая политическая система или идеология будет доминировать, если не останется питьевой воды и чистого воздуха, а многие будут страдать от рака. Нет ничего более важного, чем предотвращение этой катастрофы.

*Асимметрия между затратами и выгодами.* Надеяться на эффективные действия сложно, когда люди живут иллюзиями. Даже если бы все мыслили рационально, осознавали угрозу и понимали необходимые шаги, все равно возникали бы серьезные препятствия для адекватных мер по исправлению положения. Эти трудности связаны с асимметрией между затратами и выгодами: затраты на исправление ситуации очевидны и требуют незамедлительных действий, тогда как выгоды приходят позже и имеют неясные очертания. Позвольте мне проиллюстрировать эту мысль на конкретном примере.

Я прекрасно осознаю, что, управляя автомобилем, я способствую кислотным дождям, которые наносят вред лесам. Этот процесс может сделать Землю непригодной для жизни. Тем не менее, я продолжаю ездить. Почему? Потому что отказ от вождения приведет ко многим неудобствам для меня, в то время как положительный эффект для окружающей среды (или даже для моих собственных деревьев) останется незаметным. Несоответствие между затратами и выгодами еще более ярко проявляется в случае отопления. Сжигая ископаемое топливо для обогрева своего дома, я усиливаю парниковый эффект. Однако, если бы я прекратил это делать, я и моя жена столкнулись бы с серьезным дискомфортом, который, не исключено, приведет к болезням и даже преждевременной смерти, в то время как эффект от моей жертвы остался бы незаметным. Результат мог бы быть нулевым, даже если бы множество людей принесли такую жертву, потому что, если бы их было достаточно, чтобы повлиять на цены, снижение цен могло бы побудить других использовать топливо более активно. Это могло бы произойти даже в случае, если бы целая страна отказалась от угля или нефти. Даже крупная страна не смогла бы защитить себя от истощения озонового слоя или рассеивания плутония в воздухе, если другие страны не последуют примеру.

Наказание за альтруизм в условиях конфликта, будь то коммерческая конкуренция или политика власти и война, выглядит особенно тревожно. Односторонняя жертва ради общего

блага ослабляет способность конкурировать или бороться и в конечном итоге приводит к устранению альтруистов. Например, ограничения на загрязнение повышают производственные издержки и затрудняют конкуренцию с предприятиями тех стран, в которых таких ограничений нет.

Непропорциональность между немедленными затратами и отдаленными выгодами объясняет, почему многие промышленники готовы загрязнять мир: вклад их собственной деятельности в общее загрязнение обычно невелик, и его последствия для них или их детей незначительны, тогда как прибыль от этого процесса довольно значительна и моментальна. Ситуация не менее сложна в социалистических экономических системах, в которых государство владеет средствами производства, а экономическая деятельность координируется бюрократическим контролем вместо рынка. В таких условиях главной задачей менеджера становится сохранение своего положения, выполнение плана или получение повышения за его перевыполнение. Несмотря на то, что он также дышит тем же воздухом и пьет ту же воду, что и наименее оплачиваемый работник, потеря работы из-за невыполнения плана или надоедания начальству назойливыми просьбами ставит его в уязвимое положение, лишая привилегий и удобств. Учитывая, что данный тип экономики тесно связан с диктатурой, реформы могут быть достигнуты лишь через повышение экологической сознательности и информированности верхушки общества.

*Экологическая политика диктатур и демократий.* Можно предположить, что диктатуры более способны реализовывать разумную экологическую политику, чем демократии, по той же причине, по которой они способны выделять большую часть национального богатства на вооружение: им не нужно получать согласие своих подданных на отказ от потребления. Таким образом, диктатор или олигархия могли бы легче планировать будущее и побуждать население жертвовать комфортом ради защиты окружающей среды. Однако на практике этого не происходило, за исключением некоторой степени в Китае после прихода к власти Дэн Сяопина. Клептократы, как правило, сосредоточены на собственном обогащении и выгодах своих сторонников, в то время как более эффективные диктаторы, как правило, стремятся прежде всего увеличить свою военную мощь. Ярким примером является Сталин, который ради достижения этой цели жертвовал не только уровнем жизни, но и жизнями людей. До прихода Горбачева в советском блоке не наблюдалось никакой заботы об экологии, и любой, кто поднимал этот вопрос, рисковал оказаться в тюрьме.

Экологические показатели командной экономики оставляют желать лучшего, но и рыночная экономика также не демонстрирует больших успехов в этой области. Без необходимых моральных и правовых ограничений рынок по своей природе не способен эффективно противостоять экологическим опасностям. Возможность превращать объекты в деньги, которые можно легко накопить, не только позволяет, но и фактически поощряет истощение общих ресурсов. Это явление выходит за рамки концепции «трагедии общин», как это описывает Гарретт Хардин, рассматривая, как общие пастбища обычно поддаются чрезмерному выпасу и эрозии. Хотя сохранение этих ресурсов было бы в интересах всех, каждый пастух стремится максимизировать свою выгоду, что приводит к чрезмерному использованию. Ограничения только вредят личным интересам пастуха, поскольку это освобождает место для других. В условиях конкурентного рынка «трагедия общин» усугубляется явлением «наказания за альтруизм»: те, кто быстрее истощает бесплатные ресурсы, вытесняют с рынка менее целеустремленных конкурентов.

Загрязнение окружающей среды представляет собой пример внешних издержек, то есть издержек, которые несет не производитель или покупатель, а третьи лица. К примеру, жители, проживающие рядом с фабрикой, вынуждены приобретать воздушные фильтры, причем ни владельцы фабрики, ни их клиенты не компенсируют им эти расходы. Предлагалось изме-

нить законодательство, чтобы третьи лица могли получать компенсацию за причиненный ущерб. Однако проблема заключается в том, что доказать наличие ущерба в таких ситуациях зачастую сложно, а судебные издержки могут оказаться непосильными для обычного человека. Нужно создавать особую и легко доступную процедуру, однако это маловероятно в странах, в которых власть юридической профессии не подвержена контролю. Более того, в то время как прибыль концентрируется в руках немногих, внешние издержки распространяются среди многих. Обычно пострадавший от загрязнения сталкивается с воздействием нескольких компаний, и ему нужно быть крайне решительным, чтобы подать иски против нескольких состоятельных фирм. Поэтому для эффективного решения проблемы пострадавшие от внешних издержек должны организоваться. Индивидуальные действия в рыночной ситуации вряд ли приведут к успеху.

Серьезным препятствием для экологической защиты является характер спроса, на который производители реагируют в условиях конкуренции. Спрос в значительной степени зависит от удаленности и разбросанности выгод, а также от прямоты затрат. В результате, в тех местах, в которых закон не требует установки фильтров для выхлопных газов от неэтилированного бензина, спрос на них оказывается низким.

Было высказано предположение, что рыночный механизм мог бы эффективно решить проблему загрязнения, если бы все важные ресурсы стали частной собственностью. Действительно, люди гораздо реже мусорят на своих участках, чем на общественных территориях. Многие выбрасывают мусор на чужую территорию, если это возможно, но она, как правило, охраняется гораздо лучше общественной. Конечно, расширение частной собственности не может полностью защитить окружающую среду от непредусмотрительности и расточительности владельцев. Однако более значительным аргументом является невозможность разделения таких ресурсов, как воздух и океаны.

*Кто может представлять будущие поколения?* Наиболее фундаментальным недостатком рынка в экологической сфере является его неспособность защитить интересы будущих поколений, поскольку у них нет покупательной способности. В богатых странах мы обеспечиваем себе комфорт и развлечения за счет ресурсов, которые будут недоступны для будущих поколений. Например, они не смогут пользоваться нефтью, но будут вынуждены терпеть последствия нашего сжигания. Существует также конфликт интересов между разными поколениями, которые живут в настоящее время. Люди младше 30 лет, а также те, кому около 40, скорее всего, будут остро ощущать последствия нынешнего экологического расточительства, в то время как те, кто старше 60 или даже 50 лет, скорее всего, избегнут этих пагубных последствий. Поскольку именно последние обладают властью, если они будут действовать эгоистично, изменения не произойдут. Нет логического обоснования для позиции, выражающейся в вопросах: «Почему я должен заботиться о будущих поколениях? Что они сделали для меня?» Жертвы ради них могут быть вызваны только моральным императивом или альтруизмом.

Экологические проблемы изменили отношения между поколениями, что может привести к усилению конфликтов между ними. В условиях прогрессивной экономики предыдущее поколение накопило ресурсы, за что следующее могло бы быть ему благодарно. Однако в условиях истощения невозполнимых ресурсов более высокий уровень жизни старшего поколения может поддерживаться лишь за счет ухудшения условий для молодого поколения. Интересно, что исчезновение традиционного уважения и благодарности к старшим совпало с началом экологического кризиса.

Адам Смит описывает, как стремление к личной выгоде приносит пользу обществу на свободном рынке следующим образом:

Каждый индивидуум постоянно старается найти наиболее выгодный способ использования любого капитала, которым он располагает. Его целью является собственная выгода, а не благо общества. Однако стремление к собственной выгоде естественным образом, или даже неизбежно, приводит его к выбору тех способов применения, которые приносят наибольшую пользу обществу.

Ведя эту промышленность таким образом, чтобы ее продукция имела максимальную ценность, он стремится лишь к своей собственной выгоде. И в этом, как и в множестве других ситуаций, он управляется невидимой рукой к достижению цели, которая не входила в его намерения. И не всегда для общества плохо, что это не было частью его замысла. Стремясь к своим собственным интересам, он зачастую приносит больше пользы обществу, чем если бы действительно пытался ему помочь. Я никогда не замечал, чтобы что-то значительное было сделано теми, кто притворялся, что действует ради общественного блага. Это притворство, на самом деле, не так уж распространено среди торговцев, и нужно совсем немного слов, чтобы убедить их отказаться от него.

Равномерное, постоянное и непрерывное стремление каждого человека улучшить свое положение является основным принципом, из которого вытекает как общественное и национальное, так и частное богатство. Это стремление зачастую оказывается достаточно сильным, чтобы поддерживать естественный прогресс в направлении улучшения, несмотря на расточительность правительства и серьезные ошибки управления. Подобно неизвестному принципу животной жизни, оно порой восстанавливает здоровье и силы организма, невзирая как на болезни, так и на абсурдные предписания врачей.

*Злая рука.* Сознательное или бессознательное применение этого рецепта позволило некоторым нациям достичь невиданного ранее уровня богатства. Однако не удивительно, что его великий первооткрыватель не осознавал границы его применения, определяемые обстоятельствами, едва заметными в его время: истощением природных ресурсов, эрозией почвы и загрязнением. Речь не идет о том, что эти процессы полностью отсутствовали при жизни Смита. Уже до XVIII века обширные территории Ближнего Востока, Северной Африки и Испании стали бесплодными из-за вырубки лесов, чрезмерного выпаса скота и интенсивной обработки и эрозии почвы. Тем не менее, Смит не знал об этом, так как археология и историческая география еще не существовали. Он не предполагал, что производство может достичь таких масштабов, что начнет разрушать окружающую среду: что невидимая «Благожелательная или Божественная Рука» может оказаться столь успешной, что вызовет свою противоположность – «Зловредную или Сатанинскую Руку».

Примеры подобных ситуаций всегда имели место. Возьмите, к примеру, пожар в театре. Вполне разумно, что в условиях паники каждый пытается прорваться к выходу, следуя примеру других. Однако в итоге дверь может заклинить, и никто не сможет выбраться. Если бы зрители были самоотверженными альтруистами, они могли бы спасти себя. Тонущий корабль – еще один яркий пример. При взаимопомощи и координации действий – поочередной работе на насосах, совместном спуске спасательных шлюпок и ремонте лестниц – большинство, а возможно, и все могли бы быть спасены. Но если каждый будет думать только о себе, безжалостно расталкивая и пиная других, большинство, а возможно, и все утонут.

В прошлом причинно-следственные связи, при которых вред возникал из-за рационального стремления каждого к своим интересам, проявлялись либо в виде бедствий (как упоминалось ранее), либо действовали настолько медленно, что их было трудно заметить, как это происходило в большинстве случаев «трагедии общин». Единственным распространенным примером ситуации, когда этот механизм работал быстро и в больших масштабах, была война: если бы каждый воин заботился только о своем выживании, все могли бы стать жертвами врага. Поэтому солидарность, охватывающая большие группы людей, проявлялась наиболее явно именно в условиях войны. Значительным препятствием для действий по экологическо-

му восстановлению является то, что люди склонны помогать друг другу и жертвовать собой ради общего блага лишь тогда, когда они сражаются с другими.

Достижение ситуации, при которой производство желаемых товаров может привести к нежелательным последствиям, не делает идеи Адама Смита полностью устаревшими. Поскольку маловероятно, что все мы станем чистыми альтруистами, экономическая эффективность не может быть достигнута или сохранена без значительного акцента на мотив прибыли. Эффективные экологические меры требуют инициативы и инноваций на всех уровнях, а не инерции чрезмерно централизованной бюрократии. Следовательно, рыночные механизмы будут необходимы, как и в прошлом, но они должны действовать в рамках адекватных экологических ограничений, поддерживаемых соответствующими законами, международными соглашениями и новой экологической моралью, если мы хотим хоть как-то избежать полной катастрофы.

Экологическая ситуация заставила народы мира объединиться, хотя это может показаться непривычным. Нам необходимо сотрудничать и идти на жертвы не перед лицом явного врага, а ради предотвращения неопределенных и, на первый взгляд, отдаленных угроз. Если мы будем слишком эгоистичны, суеверны, жадны и агрессивны, чтобы действовать рационально и справедливо сотрудничать для предотвращения экологических катастроф, последствия могут быть катастрофическими. Это приведет к нарастанию конфликтов за сокращающиеся ресурсы, что, вероятно, приведет к увеличению числа войн, революций и диктатур все более жестокого характера.

*Перевод с английского языка А.Г. Акопян,  
научная редакция В.П. Макаренко*